

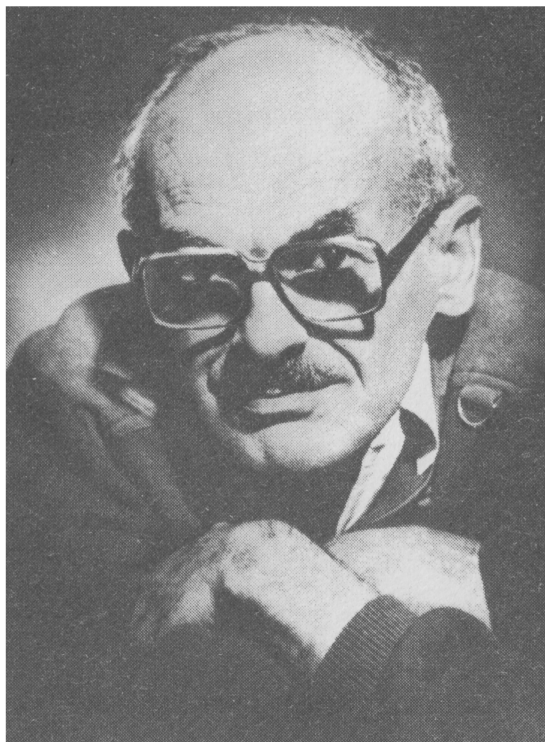
БИБЛИОТЕКА

ISSN0132-2095

№ 25 1991

ОГОНЁК

МОСКВА



Буллат ОКУДЖАВА

**ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СЕКРЕТНОГО БАПТИСТА**

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 25

Издается с января 1925 года

Булат ОКУДЖАВА

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТНОГО БАПТИСТА

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТЬ

Москва. 1991

Булат ОКУДЖАВА

Булат Шалвович Окуджава — известный русский поэт, прозаик. Один из создателей и самых ярких представителей жанра современной авторской песни.

Фронтовик, солдат Отечественной войны. Был минометчиком, радистом тяжелой артиллерии. Ранен под Моздоком. Написал повести о войне «Будь здоров, школяр» и «Фронт приходит к нам».

В разные годы Окуджава выпустил поэтические сборники «Лирика», «Острова», «По дороге к Тинатин», «Веселый барабанищик», «Март великодушный», «Арбат, мой Арбат», «Посвящается вам», книги избранных стихотворений.

Родился в 1924 году в Москве, на Арбате. Родители, большевики «ленинской гвардии», подверглись общей участи в 37-м. Отец был расстрелян. Мать вернулась из лагерей после войны, вскоре последовал второй арест...

Два рассказа из этой книжки посвящены ее судьбе. Небольшая повесть, также биографического характера, обращена к чуть более позднему времени, когда внезапно начавшийся процесс реабилитации узников ГУЛАГа нисколько не препятствовал плодотворной работе карательных «органов», по-прежнему успешно вербовавших души наших сограждан. Один из них, сын вчерашних «врагов народа», очень желает поверить словам своего нового друга-гебиста, но и не в силах избавиться от нахлынувших воспоминаний.

Автор «Глотка свободы», «Похождений Шипова», «Путешествия дилетантов», «Свидания с Бонапартом» — книг исторической прозы, Окуджава ныне стремится восстановить утраченную традицию прозы «семейной», где судьбы близких людей неотделимы от судьбы Отечества. Он пишет роман «Упраздненный Театр» — о своем детстве, юности, о родителях, об ушедших людях и упраздненной эпохе. Автор сентиментален, ироничен, горек и абсолютно узнаваем в чуть старомодной стилистике своей прозы, как в песнях — по интонации неповторимого голоса.

ДЕВУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ

Рассказ

Вспоминаю, как встречал маму в 1947 году.

Мы были в разлуке десять лет. Расставалась она с двенадцатилетним мальчиком, а тут был уже двадцатидвухлетний молодой человек, студент университета, уже отвоёвавший, раненный, многое хлебнувший, хотя, как теперь вспоминается, несколько поверхностный, легкомысленный, что ли. Что-то такое неосновательное просвечивало во мне, как ни странно.

Мы были в разлуке десять лет. Ну, бывшие тогда обстоятельства, причины тех горестных утрат, длительных разлук — теперь все это хорошо известно, теперь мы все это хорошо понимаем, объясняем, смотрим на это как на исторический факт, иногда даже забывая, что сами во всем этом варились, что сами были участниками тех событий, что нас самих это задевало, даже ударило и ранило.

Тогда десять лет были для меня громадным сроком, не то что теперь: годы мелькают, что-то пощелкивает, словно в автомате, так что к вечеру, глядишь, и еще нескольких как не бывало, а тогда почти вся жизнь укладывалась в этот срок и казалась бесконечной, и я думал, что если я успел столько прожить и стать взрослым, то уж мама моя — вовсе седая сухонькая старушка... И становилось страшно.

Обстоятельства моей тогдашней жизни были вот какие. Я вернулся с фронта и поступил в Тбилисский университет, и жил в комнате первого этажа, которую мне оставила моя тетьа, переехавшая в другой город. Учился я на филологическом факультете, писал подражательные стихи, жил, как мог жить одинокий студент в послевоенные годы — не загадывая на будущее, без денег, без отчаяния. Влюблялся, сгорал, и это помогало забывать о голоде, и думал, бодрясь: жив-здоров, чего же больше? Лишь тайну черного цвета, горькую тайну моей разлуки хранил в глубине души, вспоминая о маме.

Было несколько фотографий, на которых она молодая, с большими карими глазами; гладко зачесанные волосы с пучком на затылке, темное платье с белым воротником, строгое лицо, но губы вот-вот должны

дрогнуть в улыбке. Ну, еще запомнились интонации, манера смеяться, какие-то ускользающие ласковые слова, всякие мелочи. Я любил этот потухающий образ, страдал в разлуке, но был он для меня не более чем символ, милый и призрачный, высокопарный и неконкретный.

За стеной моей комнаты жил сосед Меладзе, пожилой, грузный, с растопыренными ушами, из которых лезла седая шерсть, неряшливый, насулпленный, неразговорчивый, особенно со мной, словно боялся, что я попрошу взаймы. Возвращался с работы неизвестным образом, никто не видел его входящим в двери. Сейчас мне кажется, что он влетал в форточку и вылетал из нее вместе со своим потертым коричневым портфелем. Кем он был, чем занимался — теперь я этого не помню, да и тогда, наверное, не знал. Он отсиживался в своей комнате, почти не выходя. Что он там делал?

Мы были одиноки — и он и я.

Думаю, что ему несладко жилось по соседству со мной. Ко мне иногда вваливались компании таких же, как я, голодных, торопливых, возбужденных, и девочки приходили, и мы пекли на сковороде сухие лепешки из кукурузной муки, откупоривали бутылки дешевого вина, и сквозь тонкую стену к Меладзе проникали крики и смех, и звон стаканов, шепот и поцелуи, и он, как видно по всему, с отвращением терпел нашу возню и презирал меня.

Тогда я не умел оценить меру его терпения и высокое благородство: ни слова упрека ни разу не сорвалось с его уст. Он просто не замечал меня, не разговаривал со мной, и, если я иногда по-соседски просил у него соли, или спичек, или иголку с ниткой, он не отказывал мне, но, вручая, молчал и смотрел в сторону.

В тот знаменательный день я возвратился домой поздно. Уж и не помню, где я шился. Он встретил меня в кухне-прихожей и протянул сложенный листок.

— Телеграмма, — сказал шепотом.

Телеграмма была из Караганды. Она обожгла руки. «Встречай пятьсот первым целую мама». Меладзе топтался рядом, сопел и наблюдал за мной. Я ни с того ни с сего зажег керосинку, потом погасил ее и поставил чайник. Затем принялся подметать у своего кухонного столика, но не домел и принялся скрести клеенку...

Вот и свершилось самое неправдоподобное, да как внезапно! Привычный символ приобрел четкие очертания. То, о чем я безнадежно мечтал, что оплакивал тайком по ночам в одиночестве, стало почти осязаемым.

— Караганда? — прошелестел Меладзе.

— Да, — сказал я печально.

Он горестно поцокал языком и шумно вздохнул.

— Какой-то пятьсот первый поезд, — сказал я, — наверное, ошибка. Разве поезда имеют такие номера?

— Нэт,— шепнул он,— нэ ошибка. Пиатсот первый — значит пиатсот веселый.

— Почему веселый? — не понял я.

— Товарные вагоны, кацо. Дольго идет — всем весело,— и снова поцокал.

Ночью заснуть я не мог. Меладзе покашливал за стеной. Утром я отправился на вокзал.

Ужасная мысль, что я не узнаю маму, преследовала меня, пока я стремительно преодолевал Верийский спуск и летел дальше по улице Жореса к вокзалу, и я старался представить себя среди вагонов и толпы, и там, в самом бурном ее водовороте, мелькала седенькая старушка, и мы бросались друг к другу. Потом мы ехали домой на десятом трамвае, мы ужинали, и я отчетливо видел, как приятны ей цивилизация и покой, и новые времена, и новые окрестности, и все, что я буду ей рассказывать, и все, что я ей покажу, о чем она забыла, успела забыть, отвыкнуть, плача над моими редкими письмами...

Поезд под странным номером действительно существовал. Он двигался вне расписания, и точное время его прибытия было тайной даже для диспетчеров дороги. Но его тем не менее ждали и даже надеялись, что к вечеру он прибудет в Тбилиси. Я вернулся домой. Мыл полы, выстирал единственную свою скатерть и единственное свое полотенце, а сам все время пытался себе представить этот миг, то есть как мы встретимся с мамой и смогу ли я сразу узнать ее — нынешнюю, постаревшую, сторбленную, седую, а если не узнаю, ну не узнаю и пробегу мимо, и она будет меня высматривать в вокзальной толпе и сокрушаться, или она поймет по моим глазам, что я не узнал ее, и как это все усугубит ее рану...

К четырем часам я снова был на вокзале, но пятьсот веселый затерялся в пространстве. Теперь его ждали в полночь. Я воротился домой и, чтоб несколько унять лихорадку, которая меня охватила, принялся гладить скатерть и полотенце, подмел комнату, вытряс коврик, снова подмел комнату... За окнами был май. И вновь я полетел на вокзал в десятом номере трамвая, в окружении чужих матерей и их сыновей, не подозревающих о моем празднике, и вновь с пламенной надеждой возвращаться обратно уже не в одиночестве, обнимая худенькие плечи... Я знал, что, когда подойдет к перрону этот бесконечный состав, мне предстоит не раз пробежаться вдоль него, и я должен буду в тысячной толпе найти свою маму, узнать, и обнять, и прижаться к ней, узнать ее среди тысяч других пассажиров и встречающих, маленькую, седенькую, хрупкую, изможденную...

И вот я встречу ее. Мы поужинаем дома. Вдвоем. Она будет рассказывать о своей жизни, а я — о своей. Мы не будем углубляться, искать причины и тех, кто виновен. Ну случилось, ну произошло, а теперь мы снова вместе...

...А потом я поведу ее в кино, и пусть она отдохнет там душою. И фильм я выбрал. То есть даже не выбрал, а был один-единственный в Тбилиси, по которому все сходили с ума. Это был трофейный фильм «Девушка моей мечты» с потрясающей, неотразимой Марикой Рёкк в главной роли. Нормальная жизнь в городе приостановилась: все говорили о фильме, бегали на него каждую свободную минуту, по улицам навсвистывали мелодии из этого фильма, и из распахнутых окон доносились звуки фортепиано все с теми же мотивчиками, завораживавшими слух тбилисцев. Фильм этот был цветной, с танцами и пением, с любовными приключениями, с комическими ситуациями. Яркое, шумное шоу, поражающее воображение зрителей в трудные послевоенные годы. Я лично умудрился побывать на нем около пятнадцати раз, и был тайно влюблен в роскошную, ослепительно улыбающуюся Марику, и, хотя знал этот фильм наизусть, всякий раз будто заново видел его и переживал за главных героев. И я не случайно подумал тогда, что с помощью его моя мама могла бы вернуться к жизни после десяти лет пустыни страданий и безнадежности. Она увидит все это, думал я, и хоть на время отвлечется от своих скорбных мыслей, и насладится лицемерием прекрасного, и напиться миром, спокойствием, благополучием, музыкой, и это все вернет ее к жизни, к любви и ко мне... А героиня? Молодая женщина, источающая счастье. Природа была щедра и наделила ее упругим и здоровым телом, золотистой кожей, длинными безукоризненными ногами, завораживающим бюстом. Она распахивала синие смеющиеся глаза, в которых с наслаждением тонули чувственные тбилисцы, и улыбалась, демонстрируя совершенный рот, и танцевала, окруженная крепкими горячими беспечными красавцами. Она сопровождала меня повсюду и даже усаживалась на старенький мой топчан, положив ногу на ногу, оставившись в меня синими глазами, благоухая неведомыми ароматами и австрийским здоровьем. Я, конечно, и думать не смел унижить ее грубым моим бытом или послевоенными печалью, или намеками на горькую карагандинскую пустыню, перерезанную колючей проволокой. Она тем и была хороша, что даже и не подозревала о существовании этих перенаселенных пустынь, столь несовместимых с ее прекрасным голубым Дунаем, на берегах которого она танцевала в счастливом неведении. Несправедливость и горечь не касались ее. Пусть мы... нам... но не она, не ей. Я хранил ее как драгоценный камень и время от времени вытаскивал из тайника, чтобы полюбоваться, впиваясь в экраны кинотеатров, пропахших карболой.

На привокзальной площади стоял оглушительный гомон. Все пространство перед вокзалом было запружено пестрой толпой. Чемоданы и узлы громоздились на асфальте, смех и плач, и крики, и острые слова... Я понял, что опоздал, но, видимо, ненадолго, и еще была надежда... Я спросил сидящих на вещах людей, не с пятьсот ли первым они прибыли. Но они оказались из Батуми. От сердца отлегло. Я пробился в спрочное сквозь толпу и крикнул о пятьсот проклятом, но та, в окошке,

задерганная и оглушенная, долго ничего не понимала, отвечая сразу несколькими, а когда поняла наконец, крикнула мне с ожесточением, покрываясь розовыми пятнами, что пятьсот первый пришел час назад, давно пришел этот сумасшедший поезд, уже никого нету, все вышли час назад, и уже давно никого нету...

На привокзальной площади, похожей на воскресный базар, на груде чемоданов и тюков сидела сгорбленная старуха и беспомощно озиралась по сторонам. Я направился к ней. Что-то знакомое показало мне в чертах ее лица. Я медленно переставлял одеревеневшие ноги. Она заметила меня, подозрительно оглядела и маленькую ручку опустила на ближайший тюк.

Я отправился пешком к дому в надежде догнать маму по пути. Но так и дошел до самых дверей своего дома, а ее не встретил. В комнате было пусто и тихо. За стеной кашлянул Меладзе. Надо было снова бежать по дороге к вокзалу, и я вышел и на ближайшем углу увидел маму!.. Она медленно подходила к дому. В руке у нее был фанерный сундучок. Все та же, высокая и стройная, какой помнилась, в сером ситцевом платье, помятом и нелепом. Сильная, загорелая, молодая. Помню, как я был счастлив, видя ее такой, а не сгорбленной и старой.

Были ранние сумерки. Она обнимала меня, терлась щекой о мою щеку. Сундучок стоял на тротуаре. Прохожие не обращали на нас внимания: в Тбилиси, где все целуются при встречах по многу раз на дню, ничего необычного не было в наших объятиях.

— Вот ты какой! — приговаривала она. — Вот ты какой, мой мальчик, мой мальчик, — и это было, как раньше, как когда-то...

Мы медленно направились к дому. Я обнял ее плечи, и мне захотелось спросить, ну как спрашивают у только что приехавшего: «Ну как ты? Как там жилось?..» — но спохватился и промолчал.

Мы вошли в дом. В комнату. Я усадил ее на старенький диван. За стеной кашлянул Меладзе. Я усадил ее и заглянул ей в глаза. Эти большие, карие, миндалевидные глаза были теперь совсем рядом. Я заглянул в них... Готовясь к встрече, я думал, что будет много слез и горьких причитаний, и я приготовил такую фразу, чтобы утешить ее: «Мамочка, ты же видишь — я здоров, все хорошо у меня, и ты здоровая и такая же красивая, и все теперь будет хорошо, ты вернулась, и мы снова вместе...». Я повторял про себя эти слова многократно, готовясь к первым объятиям, к первым слезам, к тому, что бывает после десятилетней разлуки... И вот я заглянул в ее глаза. Они были сухими и отрешенными, она смотрела на меня, но меня не видела, лицо застыло, окаменело, губы слегка приоткрылись, сильные загорелые руки безвольно лежали на коленях. Она ничего не говорила, лишь изредка поддакивала моей утешительной болтовне, пустым разглагольствованиям о чем угодно, лишь бы не о том, что было написано на ее лице... «Уж лучше бы она рыдала», — подумал я. Она закурила дешевую папиросу. Провела ладонью по моей голове...

— Сейчас мы поедем, — сказал я бодро. — Ты хочешь есть?
— Что? — спросила она.
— Есть хочешь? Ты ведь с дороги.
— Я? — не поняла она.
— Ты, — засмеялся я, — конечно, ты...
— Да, — сказала она покорно, — а ты? — и, кажется, даже улыбнулась, но продолжала сидеть все так же — руки на коленях...

Я выскочил в кухню, зажег керосинку, замесил остатки кукурузной муки. Нарезал небольшой кусочек имеретинского сыра, чудом сохранившийся среди моих ничтожных запасов. Я разложил все на столе перед мамой, чтобы она порадовалась, встрепенулась: вот какой у нее сын, и какой у него дом, и как у него все получается, и что мы сильнее обстоятельств, мы их вот так пересиливаем мужеством и любовью. Я метался перед ней, но она оставалась безучастна и только курила одну папиросу за другой... Затем закипел чайник, и я пристроил его на столе. Я впервые управлялся так ловко, так быстро, так аккуратно с посудой, с керосинкой, с нехитрой снедью: пусть она видит, что со мной не пропадешь. Жизнь продолжается, продолжается... Конечно, после всего, что она перенесла, вдали от дома, от меня... сразу ведь ничего не восстановить, но постепенно, терпеливо...

Когда я снимал с огня лепешки, скрипнула дверь, и Меладзе засопел у меня за спиной. Он протягивал мне миску с лобием.

— Что вы, — сказал я, — у нас все есть...

— Держи, кацо, — сказал он угрюмо, — я знаю...

Я взял у него миску, но он не уходил.

— Пойдемте, — сказал я, — я познакомлю вас с моей мамой, — и распахнул дверь.

Мама все так же сидела, положив руки на колени. Я думал — при виде гостя она встанет и улыбнется, как это принято: очень приятно, очень приятно... и назовет себя, но она молча протянула загорелую ладонь и снова опустила ее на колени.

— Присаживайтесь, — сказал я и подставил ему стул.

Он уселся напротив. Он тоже положил руки на свои колени. Сумерки густели. На фоне окна они казались неподвижными статуями, застыв в одинаковых позах, и профили их показались мне сходными.

О чем они говорили и говорили ли, пока я выбегал в кухню, не знаю. Из комнаты не доносилось ни звука. Когда я вернулся, я заметил, что руки мамы уже не покоились на коленях и вся она подалась немного вперед, словно прислушивалась.

— Батык? — произнес в тишине Меладзе.

Мама посмотрела на меня, потом сказала:

— Жарык... — и смущенно улыбнулась.

Пока я носился из кухни в комнату и обратно, они продолжали обмениваться короткими непонятными словами, при этом почти шепотом, одними губами. Меладзе цокал языком и качал головой. Я вспомнил,

что Жарык — это станция, возле которой находилась мама, откуда иногда долетали до меня ее письма, из которых я узнавал, что она здорова, бодра и все у нее замечательно, только ты учишь, учишь хорошенько, я тебя очень прошу, сыночек... и туда я отправлял известия о себе самом, о том, что я здоров и бодр, и все у меня хорошо, и я работаю над статьей о Пушкине, меня все хвалят, ты за меня не беспокойся, и уверен, что все в конце концов образуется и мы встретимся...

И вот мы встретились, и сейчас она спросит о статье и о других безответственных баснях...

Меладзе отказался от чая и исчез. Мама впервые посмотрела на меня осознанно.

— Он что, — спросил я шепотом, — тоже там был?

— Кто? — спросила она.

— Ну кто, кто... Меладзе...

— Меладзе? — удивилась она и посмотрела в окно. — Кто такой Меладзе?

— Ну как кто? — не сдержался я. — Мама, ты меня слышишь? Меладзе... мой сосед, с которым я тебя сейчас познакомил... Он тоже был... там?

— Тише, тише, — поморщилась она. — Не надо об этом, сыночек...

О Меладзе, сопящий и топчущийся в одиночестве, ты тоже ведь когда-то был строен, как кизиловая ветвь, и твое юношеское лицо с горячими и жгучими усиками озарялось миллионом желаний. Губы поблели, усы поникли, вдохновенные щечки опали. Я смеялся над тобой и исподтишка показывал тебя своим друзьям: вот, мол, дети, если не будете есть манную кашу, будете похожи на этого дядю... И мы, пока еще пухлогубые и остроглазые, диву давались и закатывались, видя, как ты неуклюже топчешься, как настороженно высовываешься из дверей... Чего ты боялся, Меладзе?

Мы пили чай. Я хотел спросить, как ей там жилось, но испугался. И стал торопливо врать о своем житье. Она как будто слушала, кивала, изображала на лице интерес, и улыбалась, и медленно жевала. Провела ладонью по горячему чайнику, посмотрела на выпачканную ладонь...

— Да ничего, — принялся утешать ее, — я вымою чайник, это чепуха. На керосинке, знаешь, всегда коптится.

— Бедный мой сыночек, — сказала в пространство и вдруг заплакала. Я ее успокаивал, утешал: подумаешь, чайник. Она отерла слезы, отодвинула пустую чашку, смущенно улыбнулась.

— Все, все, — сказала, — не обращай внимание, — и закурила.

Каково-то ей там было, подумал я, там, среди солончаков, в разлуке?...

Меладзе кашлянул за стеной.

Ничего, подумал я, все наладится. Допьем чай, и я поведу ее в кино. Она еще не знает, что предстоит ей увидеть. Вдруг после всего, что было, голубые волны, музыка, радость, солнце и Марика Рёкк, подумал я,

зажмурившись, и это после всего, что было... Вот возьми самое яркое, самое восхитительное. Самое драгоценное из того, что у меня есть, я дарю тебе это, подумал я, задыхаясь под тяжестью собственной щедрости... И тут я сказал ей:

— А знаешь, у меня есть для тебя сюрприз, но для этого мы должны выйти из дому и немного пройтись...

— Выйти из дому? — и она поморщилась.

— Не бойся, — засмеялся я. — Теперь ничего не бойся. Ты увидишь чудо, честное слово! Это такое чудо, которое можно прописать вместо лекарьства... Ты меня слышишь? Пойдем, пойдем, пожалуйста...

Она покорно поднялась.

Мы шли по вечернему Тбилиси. Мне снова захотелось спросить у нее, как она там жила, но не спросил: так все хорошо складывалось, такой был мягкий, медовый вечер, и я был счастлив идти рядом с ней и поддерживать ее под локоть. Она была стройна и красива, моя мама, даже в этом сером помятом ситцевом, таком не тбилиском платье, даже в стоптанных сандалиях неизвестной формы. Прямо оттуда, подумал я, и — сюда, в это ласковое тепло, свет сквозь листву платанов, в шум благополучной толпы... И еще я подумал, что, конечно, нужно было заставить ее переодеться, как-то ее прихорашить, потому что, ну что она так, в том же, в чем была т а м... Пора позабывать.

Я вел ее по проспекту Руставели, и она покорно шла рядом, ни о чем не спрашивая. Пока я покупал билеты, она неподвижно стояла у стены, глядя в пол. Я кивнул ей от кассы — она, кажется, улыбнулась.

Мы сидели в душном зале, и я сказал ей:

— Сейчас ты увидишь чудо, это так красиво, что нельзя передать словами... Послушай, а там вам что-нибудь показывали?

— Что? — спросила она.

— Ну, какие-нибудь фильмы... — и понял, что говорю глупость, — хотя бы изредка...

— Нам? — спросила она и засмеялась тихонечко.

— Мама, — зашептал я с раздражением, — ну что с тобой? Ну, я спросил... Там, там, где ты была...

— Ну, конечно, — проговорила она отрешенно.

— Хорошо, что мы снова вместе, — сказал я, словно опытный миротворец, предвкушая наслаждение.

— Да, да, — шепнула она о чем-то своем.

...Я смотрел то на экран, то на маму, я делился с мамой своим богатством, я дарил ей самое лучшее, что у меня было, зал заходил в восторге и хохоте, он стонал, рукоплескал, подмурлыкивал песенки... Мама моя сидела, опустив голову. Руки ее лежали на коленях.

— Правда, здорово! — шепнул я. — Ты смотри, смотри, сейчас будет самое интересное... Смотри же, мама!...

Впрочем, в который уже раз закопошилась в моем скользящем и шатком сознании неправдоподобная мысль, что невозможно совме-

стить те обстоятельства с этим ослепительным австрийским карнавалом на берегах прекрасного голубого Дуная, закопошилась и тут же погасла...

Мама услышала мое восклицание, подняла голову, ничего не увидела и поникла вновь. Прекрасная обнаженная Марика сидела в бочке, наполненной мыльной пеной. Она мылась как ни в чем не бывало. Зал благоговел и гудел от восторга. Я хохотал и с надеждой заглядывал в глаза маме. Она даже попыталась вежливо улыбнуться мне в ответ, но у нее ничего не получилось.

— Давай уйдем отсюда, — внезапно шепнула она.

— Сейчас же самое интересное, — сказал я с досадой.

— Пожалуйста, давай уйдем...

Мы медленно двигались к дому. Молчали. Она ни о чем не расспрашивала, даже об университете, как следовало бы матери э т о г о мира.

После пышных и ярких нарядов несравненной Марики мамино платье казалось еще серей и оскорбительней.

— Ты такая загорелая, — сказал я, — такая красивая. Я думал увидеть старушку, а ты такая красивая...

— Вот как, — сказала она без интереса и погладила меня по руке.

В комнате она устроилась на прежнем стуле, сидела, уставившись перед собой, положив ладони на колени, пока я лихорадочно устраивал ночлег. Себе — на топчане, ей — на единственной кровати. Она попыталась сопротивляться, она хотела, чтобы я спал на кровати, потому что она любит на топчане, да, да, нет, нет, я тебя очень прошу, ты должен меня слушаться (попыталась придать своему голосу шутливые интонации), я мама... ты должен слушаться... я мама... — и затем, ни к кому не обращаясь, в пространство, — ма-ма... ма-ма...

Я вышел в кухню. Меладзе в нарушение своих привычек сидел на табурете. Он посмотрел на меня вопросительно.

— Повел ее в кино, — шепотом пожаловался я, — а она ушла с середины, не захотела...

— В кино? — удивился он. — Какое кино, кацо? Ей отдыхать надо...

— Она стала какая-то совсем другая, — сказал я. — Может быть, я чего-то не понимаю... Когда спрашиваю, она переспрашивает, как будто не слышит...

Он поцокал языком.

— Когда человек нэ хочит гаварить лишнее, — сказал он шепотом, — он гаварит мэдлэнно, долго, он думает, понимаешь? Ду-ма-эт... Ему нужна врэмья... У него тэперь привычка...

— Она мне боится сказать лишнее? — спросил я.

Он рассердился:

— Нэ тэбэ, нэ тэбэ, генацвале... Т а м, — он поднял вверх указательный палец, — там тэбя нэ било, т а м другие спрашивали, зачэм, почэму, понимаешь?

— Понимаю, — сказал я.

Я надеюсь на завтрашний день. Завтра все будет по-другому. Ей нужно сбросить с себя тяжелую ношу минувшего. Да, мамочка? Все забудется, все забудется, все забудется... Мы снова отправимся к берегам голубого Дуная, сливаясь с толпами, уже неотличимые от них, наслаждаясь красотой, молодостью, музыкой... да, мамочка?..

— Купи ей фрукты...— сказал Меладзе.

— Какие фрукты?— не понял я.

— Черешня купи, черешня...

...Меж тем в сером платье своем, ничем не покрывшись, свернувшись калачиком, мама устроилась на топчане. Она смотрела на меня, когда я вошел, и слегка улыбалась, так знакомо, просто, по-вечернему.

— Мама,— сказал я с укоризной,— на топчане буду спать я.

— Нет, нет,— сказала она с детским упрямством и засмеялась...

— Ты любишь черешню?— спросил я.

— Что?— не поняла она.

— Черешню ты любишь? Любишь черешню?

— Я?— спросила она...

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

Рассказ

Посвящая Зое и Свету

Вспоминаю, как провожал маму в 1949 году.

Да, провожал. Так уж случилось. В 47-м встречал из лагеря, а тут провожал. Тогда многих провожали, и не на день, не на два, а на долгие сроки.

После всего, что было, ее арестовали снова. Мы узнали об этом в одну из отвратительных ночей, когда в наш дом ввалился человек, у которого в Кировакане мама снимала угол. Он приехал около шести часов поздним поездом, чтобы рассказать нам об этом, о последнем ее прости... Впрочем, он мог бы и не приезжать. Все равно я забыл его имя. Добрые дела не запоминаются. И чего было приезжать, когда ее уже забрали? Написал бы письмо, записочку бы передал со случайной оказией. Мог бы и не беспокоиться. Что тут поделаешь?

Он сидел на кухне, сыпал пепел на пол, на брюки, тяжело вздыхал. Тетя Сильвия плакала негромко, почти шепотом. Лампочка почему-то источала желтый свет. Погода за окном была мерзейшая. Все как-то сошлось, совпало, а человек должен был выдержать, не распасться от тоски и ужаса и беспомощности... Ну, мы и держались, как могли, и еще гадали: это что — чесеир? Или каэрдэ? То есть член семьи изменника родины или контрреволюционная деятельность...

Когда она вернулась в 1947 году после десяти лет лагерей, не было ни реабилитации, ни даже помилования, просто отбыла свой срок и вернулась. В столичных и больших городах жить ей не разрешалось, и тетя Сильвия с большим трудом устроила ее в Кировакане кассиршей в какой-то артели. А мы жили в Тбилиси, и я был студентом университета. К тому времени я уже кое-что начал понимать, какой-то робкий анализ событий совершался в моей затуманенной голове, и возникали горькие вопросы: «За что?», «Почему?», «Ради чего?»...

Тетя Сильвия была постоянно настороже: такое уж было время. Она заглядывала в мои глаза, вслушивалась в мои интонации, они ее тревожили. И она, как бы отвечая на мои немые вопросы, время от времени восклицала:

— Какая мама все-таки счастливая! Не правда ли? Вот вернулась, жива-здоровая. И мы снова вместе,— и вглядывалась в меня очень пристально.

— Ну конечно,— говорил я бодро, чтобы не волновать тетю Сильвию.— Теперь все хорошо. Мама живет, как все, работает, пишет письма, можно к ней съездить...

Но тетю Сильвию слова мои не успокаивали. Что-то ей в них чудилось опасное.

Она подхватывала мои бодрые слова тем решительнее, чем они были бодрее, и говорила громче обычного:

— А что? Разве не так? Как она мучилась в лагере, арестантка! А теперь свободная женщина, даже деньги тебе присылает... Разве не так?.. Или восклицала:

— Что бы мы делали без Сталина? Как бы жили? — и внимательно вглядывалась в меня.

— Так бы и жили, — срывалось у меня, — а может, и не хуже.

— А война? — еще повышала она голос. — Какую войну вынесли! Ты разве этого не понимаешь? Ты что, все забыл?..

— Не забыл, — говорил я, чтобы не волновать ее.

— Карточки отменили...

Карточки продуктовые действительно были отменены.

— Цены понизили...

И цены медленно двигались к довоенным...

— ...и вот мама на свободе!

— Ну, конечно, конечно, — сдавался я. — Разве я спорю?

— Ну вот, — успокаивалась она, — а то брякнешь где-нибудь такое, — и растерянно улыбалась.

И вот мама трудилась кассиршей и как-то умудрялась выкраивать мне маленькие суммы из своей зарплаты. Мы переписывались. Все как будто снова вставало на свои места, и не было смысла роптать, и стоило преклониться перед яростной мудростью тети Сильвии. Мы быстро привыкли к печалям и все умели объяснять, и, если случался маленький, пусть даже совсем ничтожный праздник, даже не праздник, а легкое послабление, раздували его до несусветных размеров, радуясь и ликуя.

Так вот и ликовали, когда она вернулась, когда удалось устроить ее в артель, когда повезло ей снять угол в домике на окраине у хозяина, не испугавшегося появления в его мирном благополучном доме этой пропыленной, прожаренной в карагандинских просторах женщины с потускневшими зрачками. Да, радовались. Вот ведь как устроен человек! Понапрасну не восклицали, не задавали проклятых вопросов: «За что?», «Почему?», «Во имя чего?». Так, будто бы все было уже известно, все было всем ясно и не хотелось омрачать праздник.

Правда, иногда эти вопросы все же вырывались наружу. Мы, конечно, произносили их шепотом, как бы между прочим, как бы не придавая им значения, и отвечали на них суетливо, полунамеками, в которых сами лишь и могли разобраться. Но иногда шепот надоедал. Тогда тетя Сильвия говорила:

— А что делать, мой дорогой? Если у государства много врагов, как-то ведь надо защищаться...

Но это не могло относиться к маме, и она тут же говорила:

— Ну, с мамой произошла ошибка, конечно, — и всматривалась в меня. — Когда-нибудь, мой дорогой, все это выяснится.

— Я не сомневаюсь, — отвечал я с грустью.

Она кусала губы и вдохновенно произносила:

— Если бы ты был на их месте...— и кивала на потолок.

«Их место» мне не грозило: я твердо был на своем.

И теперь ее арестовали снова. Пришли как всегда ночью. Перерыли комнату, угол, который она снимала.

— Нашли что-нибудь? — усмехнулся я.

— Эээ, ничего не нашли, — сказал ее хозяин, снова роняя пепел.

— Если ничего, значит, все в порядке, — сказал я.

— А что могли найти! — вскричала тетя Сильвия. — Что у нее было, кроме старого белья?

— Ничего не было, — подтвердил хозяин. — Я сидел рядом, а она собиралась. Они искали. Перерыли ее постель, чемодан, а что могли найти?

— Она плакала? — спросил я шепотом.

— Почему она должна была плакать? — крикнула тетя Сильвия. — Что она, виноватая?

— Нет, не плакала, — сказал он, — извинялась передо мной, бедная. А что я? Как будто я не понимаю. Я все понимаю.

— У меня большие связи, — сказала тетя Сильвия, утирая слезы, — они еще не представляют, что я могу, — лицо ее уже пылало вдохновением. Хозяин мамино угла смотрел на нее с изумленной надеждой. «У меня такие связи!.. — сказала она, — им не поздоровится...» — и посмотрела на меня победно.

Он сидел, и кивал, и сыпал пепел. Потом он ушел. Как-то боком выскользнул в дверь. Стояла ночь. Сыпал монотонный дождь. «Что она может сделать?» — подумал я.

— Ты не расстраивайся, не вешай носа, — сказала она, — я свою сестру в обиду не дам... Я им еще покажу!.. Второй раз... неизвестно за что... где... сколько можно!

Я-то знал, что она ничего не может. Не было никаких связей, я знал. Да и кто тогда мог? И все-таки ее горячая убежденность как-то успокаивала. А что, если есть? Есть что-то там, кто-то там, неведомый мне, или, например, жене большого человека одно слово — и все изменится, и мы еще посмеемся... А если нет, думал я, значит, снова тюрьма? И допросы, и лагерь, и унижение, и карагандинские пески...

Я был студентом четвертого курса. Я знал, что меня терпят и чей-то глаз с небесной поволокой поглядывает за мной. Я все время затылком ощущал чье-то упрямое присутствие. Будущее мое было туманно, несмотря на красивые лозунги и возвышенные слова о величии человека... Да, кто-то, может быть, и был велик и прекрасен, но мне лично не улыбалось ничего.

Ах, я ошибся, утверждая, что у нее нет связей, ошибся!

И вот как это произошло.

Она начала куда-то исчезать. Какие-то глухие телефонные переговоры будоражили наш дом. Назначались свидания с кем-то, где-то, и каза-

лось, весь город захвачен этим происшествием, и все прохожие поглядывают на меня, кто с осуждением, кто с сочувствием, то подозрительно, то печально. Вдобавок ко всему — поздняя осень с дождями и пронзительным ветром. Где мама? В тюрьме? В вагоне ли с зарешеченными окнами?

На красивом лице тети Сильвии не отражалось ничего, кроме упрямой сосредоточенности. Неотвратимости судьбы она противопоставляла непреклонность и веру, и женскую хитрость... И телефонную трубку обволакивали лукавство, мольбы, дружеские интонации, и между всем этим не было границ. Все перемешивалось, переливалось одно в другое. Меня захватывала эта таинственная мелодия. Это была школа нашей жизни, способ существования... «Вы же ее знаете...», или «Конечно, конечно, вы правы...», или «Вы мне не верите?..», или «Я понимаю вас, я согласна, но все же, но все же...»

Иногда она тихо плакала, надеясь, что я ничего не вижу, над носом, который она штопала, над нехитрой нашей едой, и я видел: крупные слезы скатывались по белоснежной, по прекрасной ее щеке.

Бывало, она приводила себя в порядок, лихорадочно, торопливо, деловито, придирчиво смотрелась в зеркало, и я видел, как меняется ее облик: то обаятельная улыбка озаряла ее лицо, то суровая непреклонность, а то вдруг просительная гримаса, а то и подобострастный кивок, и царственная невозмутимость, и маска презрения... Видимо, она проигрывала перед зеркалом какие-то разговоры, какие-то с кем-то встречи, от кого хоть что-то могло зависеть в судьбе ее сестры. Я наблюдал эти горькие репетиции, а передо мной струились карагандинские пески, плыла поздняя осень. Был лагерь и колючая проволока, и вышки с часовами, и мама в сером ватнике возле тачки...

Из утешительных слов тети Сильвии явствовало, что все это несметное множество людей, изъятых из жизни и осужденных на прозябание в тюрьмах и лагерях, что все они в чем-то виноваты, и только с мамой произошла роковая ошибка, которая вот-вот раскроется, и наступит торжество справедливости. Не очень убедительно звучало это, но я и это принимал, как маленькую надежду.

И вот не знаю, как ей удалось пробиться, разведать, выяснить, определить, но однажды она все-таки воскликнула, входя в дом:

— Мама в Тбилиси!.. Ее привезли сюда. Она в Ортачальской тюрьме!.. Теперь будет легче...

Что будет легче, я так и не понял: то ли легче будет о ней хлопотать, то ли легче будет с нею повидаться. Но повидаться нам с ней не пришлось. Свидания не разрешались, пока не состоится суд, а когда он состоится, никто не знал. Вот и продолжалась эта неукротимая деятельность тети Сильвии в надежде хоть что-нибудь выяснить, разведать, определить. О, какие усилия тратились людьми, чтобы нет, не побороть, а хотя бы несколько смягчить эту неумолимую машину нашей судьбы! Все было пущено в ход: от мелкого интриганства до высочайшего вдох-

новения. Как это получалось у тети моей, у красивой, неистойвой, беспомощной сорокалетней моей тети Сильвии, не мне судить. Это для вышших сил. Что я? Я просто был при этом. У меня не было ни опыта, ни сноровки, только постоянная вкрадчивая тоска безысходности, разъедающая душу. Быть может, думал я, я заслужил эту участь чем-нибудь таким, каким-нибудь неловким жестом, неосторожным шагом, непродуманным словом? Почему, думал я, другим все: и улыбка, и будущее, и всякие праздники — все, а мне — ничего? Хотя что я знал о других, валясь в своей беде?

Наступила зима, а суда все не было. Гнилая тбилисская зима, гнилые ощущения, дождь и снег, коптящая керосинка, обогревающая комнату, томительные лекции в университете и мои друзья, напрягшиеся вместе со мною. И всяческие фантазии на ту же тему: уж если снова в лагерь, то хоть не в эту пронзительную непогоду, лучше бы летом, пусть жара, пусть, чем вот это неистовство, из промерзших вагонов в отсыревшие бараки и с тачкой под снег... И мы спрашивали друг у друга шепотом: «Ну что слышно? Решилось?..»

В конце концов все ведь решается, не так ли? Только нужно было набраться терпения. О, мы привыкли терпеть. Терпение стало второй натурой, воздухом, которым мы дышали, и когда этого воздуха становилось слишком мало для ничтожного вздоха, хотелось кричать и плакать. Как странно двигались мы при этом! Какие произносили несурзности, я помню, покуда однажды самым отвратительным февральским полднем не родились из колдовства тети Сильвии, из заговорщической ее суеты, из ее хождения по краю пропасти долгожданные счастливые выкрики...

Я помню, она крикнула мне в лицо, вернувшись после очередного поединка, что мы победили, что Бог есть и есть справедливость... А ты говорил, что нет справедливости, ты помнишь? Кто это говорил? Ты утверждал все это, а я верила, что она ни в чем не виновата, потому что она ни в чем не виновата, а ты говорил, что перед нами глухая стена... кто это говорил? А я верила, я знала... Не будет лагеря, не будет! Ни лагеря, ни тюрьмы... не могут невиновную женщину запихать в лагерь... а ты говорил... а я говорила, что не могут...

— И что же?! — крикнул я, боясь верить. — Что же теперь?

Она наконец села в кресло, а до того все металась по комнате, перебирала на столе какие-то бумажки, маленькая прядь отбилась от ее прекрасной прически, она ее поправляла, но ничего не могла и вдруг успокоилась, уселась и заплакала, как только она умела, бесшумно и страшно. Может быть, это были даже не слезы, а счастливая влага, источаемая душой? Кто знает...

— Вот видишь, — сказала она мне, — как важно вовремя собраться... Я их всех прижала, всех, вот они все у меня где, — и яростно потрясла сжатым кулаком, — они увидели, что она ни в чем не виновата... какой уж тут лагерь? За что? Они дали ей ссылку, — она пристально глянула на

меня, — это значит, что ей определяют место, ну там деревню, поселок какой-нибудь, и там она будет абсолютно свободна, представляешь? Будет жить в нормальном доме, ходить в магазин, в кино! — Она изучала мое лицо, я это видел.

— Какое счастье! — сказал я и попытался улыбнуться. — Сколько же ей там находиться?

— Ну, это не будет продолжаться вечно, — сказала она с обычной своей прозорливостью.

Она теребила мой чубчик. Ссылка называлась вечной, но мы, словно сговорившись, опускали это слово. Вечного ничего не бывает.

— К ней можно будет ездить, говорить по телефону...

— Хоть бы место попримечнее, — сказал я. — Даже не верится, что не будет лагеря.

Она звонила своим знакомым и говорила, что вот какое гуманное решение и вместо ужаса лагерей будет всего лишь ссылка, хотя мы живем в такое сложное время и в таком окружении, но сочли возможным вынести такое решение... бедная ее сестра, она тоже вздохнет после всего, что было, потому что какая у нее была жизнь? Все висело на волоске, никаких прав...

— Видишь ли, — сказала она мне, — такое сложное время. Конечно, мама ни в чем не виновата и могла бы не подвергаться всем этим ужасам, но мы живем в такое сложное время, и они, конечно, не могут теперь взять ее и выпустить так просто, ты понимаешь?

— Еще бы, — сказал я.

— Главное в том, — сказала она, — что мама ни в чем не виновата. Иначе разве было бы такое мягкое решение?

Казалось, что и погода за окнами помягчала. И я звонил своим друзьям: Зурабу, Володе, Филиппу и Нате, и Додику Барткулашвили, и всем рассказывал о случившемся, и объяснял, какая разница между лагерем и ссылкой, опуская слово «вечная» как излишество. Важно ведь то, что там она будет свободным человеком. Будет ходить в кино, если захочет, и я смогу на каникулы приезжать к ней.

Но почему-то снова мы не могли добиться с нею свидания, и передача у нас не принимали, и сроки ее отправки сохранялись в глубокой тайне.

— Почему она не может поехать сама по месту своего назначения! — сокрушался я, и слово «назначение» успокаивало: оно было так буднично, не то что ссылка или вечное поселение. И снова жизнь испытывала наше терпение, и снова углублялась пропасть между «мы» и «они». Мы были беспомощны, они — таинственны и всеильны.

Однако тетя Сильвия продолжала идти напролом. Щеки ее лихорадочно пунцевели, карие глаза сверкали, непослушная прядка выбивалась из прически. С утра она надевала свои лучшие платья и отправлялась по таинственным адресам. Где уж там она бывала, в какие проникала кабинеты, кого упрашивала, у кого вымаливала — кто знает, но наконец ей

и тут пофартило, и она узнала, что завтра отправят маму в арестантском вагоне с московским поездом.

Как странно теперь вспоминать те годы, когда в каждом пассажирском составе был обязательно арестантский вагон — темно-зеленый, с зарешеченными маленькими окнами. Как привычны они были тогда, как равнодушно скользили по ним наши взоры.

Вечером следующего дня, задолго до отхода московского поезда, мы были на вокзале. Дома, перед уходом, тетя Сильвия уложила в большую сумку вещи, которые, как она считала, могли бы пригодиться маме: старая кофта, теплая юбка, пара туфель, ботинки, пакет сухарей, бутылочка с подсолнечным маслом, и табак, и несколько старых журналов, и носки, и белье, и даже чайник, простой алюминиевый чайник, выдавший виды, потерявший блеск, но еще вполне годный к употреблению.

На вокзале было тихо. Все платформы были пустынные. Состава не было нигде.

Я стоял с сумкой, прислонившись к чугунному столбу, а тетя Сильвия вновь отправилась на разведку, потому что очень важно было установить место, где окажется арестантский вагон. Время шло. Начало вечереть. Дождь прекратился, и только мартовский сырой и колкий ветер бесчинствовал на путях. Вернулась тетя Сильвия — разведчица моей души — сказала, подбадривая меня, что скоро подадут состав. Мы, конечно, не представляли, как все это будет выглядеть и как мы будем передавать сумку маме.

Грязно-серые сумерки опустились на вокзал. Показался московский состав, он медленно приближался. Трудно было определить, какой из путей он выберет, но тете Сильвии было известно, что наша платформа — именно то место, которое нам нужно. Вот послышался перестук колес. Длинная змея поезда, извиваясь, приближалась, однако в последнюю минуту она изогнулась и поползла по совершенно другому пути, за второй от нас платформой. Мы замечались. Там, прямо за паровозом, и точно, просматривался арестантский вагон. Не успел состав остановиться, как пассажиры запрудили платформу. Перебегать через пути было слишком высоко. Мы оказались отрезанными от состава. Поезд, полагав, остановился, и пассажиры полезли в вагон. Лишь арестантский вагон стоял в одиночестве — к нему никто не спешил. Я поглядел вдоль путей, где-то вдалеке виднелся переход на другую платформу.

— Смотри, смотри, — крикнула тетя Сильвия, — вон мама!

Непонятно, как успела образоваться группка людей у арестантского вагона. Около тридцати женщин с сумками, с чемоданами стояли кружком, а вокруг — плотным кольцом охрана. Среди женщин я разглядел маму в старой лагерной телогрейке, с лагерным же чемоданчиком в руке. Я замахал, она нас увидела. Мы кивали друг другу. Я выставил вперед руку с оттопыренным большим пальцем, и это должно было означать, что у нас все хорошо, пусть она о нас не беспокоится. Арестант

полезли в вагон быстрой ускользящей стружкой. Влились и исчезли, и снова возле арестантского вагона было пусто.

Тетя Сильвия вырвала у меня сумку и побежала к дальнему переходу. Быстро темнело. машинист вскарабкался по ступенькам на паровоз. Пассажиры заканчивали посадку. Как моя тетя перебегала через пути, я не видел. В вагонах осветились окна. Везде. И только в маминном вагоне господствовала темень. Затем состав дернулся и медленно заскользил. Через несколько минут его словно и не было.

Вернулась тетя Сильвия. Она успела добежать до вагона и разыскала начальника охраны. Его фамилия была Еськин. Сержант Еськин сначала и разговаривать не захотел, но все-таки смиростивился, хотя вещи передать категорически отказался. Она уговаривала его, называла дорогим, родным и плакала, и сунула ему пятьдесят рублей, и тогда он согласился передать, но только чайник.

— Только чайник, — сказал он, — эта вещь в дороге нужная.

Всю обратную дорогу домой мы праздновали удачу.

Теперь прошло много лет. Теперь и вспоминать об этом как-то не так больно. В 1956 году мама вернулась окончательно. Вот тогда мы и узнали, что чайника сержант Еськин так ей и не передал.

За что? Почему? Во имя чего?..

Впрочем, это уже не имеет значения.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТНОГО БАПТИСТА

Повесть

1

Вкрадчивый баритон в телефонной трубке осторожно спросил:

— Андрей Петрович?.. Наконец-то я вас разыскал. Здравствуйте, Андрей Петрович.— Голос был незнаком, приятен.— Я приехал из деревни, где вы когда-то работали, и привез вам приветы от бывших ваших сослуживцев...

— Очень рад,— сказал Андрей Шамин,— очень рад. Спасибо.

Три года назад он работал учителем в глухой деревушке. Видимо, его еще помнили. Впрочем, должны были помнить, ибо областная газета, в которой он теперь работал, иногда писала об этой деревне, и имя Андрея Шамина мелькало на полосах.

— Хотелось бы встретиться, Андрей Петрович,— настойчиво проворковал баритон.— Тут кое-что для вас у меня...

— Сейчас или вообще?— спросил Шамин.— Если сейчас, то никак: горячее время,— и засмеялся как мог учтивее.

— Ну, Андрей Петрович, голубчик, выветесь на пять минут,— попросил баритон и вроде бы тоже засмеялся очень дружески.— Я ведь, знаете, в двух шагах от вас, в гостинице, уж не откажите...

— Ладно, заходите,— согласился Шамин.

— Андрей Петрович,— сказал баритон смущенно,— видите ли... у меня этот... жарок... Боюсь выходить. Убедительно прошу вас...

В условленное время Шамин был в вестибюле гостиницы. Вестибюль был пустынен. По лестнице медленно сходил человек лет сорока в отличном костюме, невысокий, плотный, в безукоризненной белой сорочке под черным галстуком; розовощекий, мягко потирающий руки, настороженный, улыбающийся. Не деревенский, не деревенский...

— Андрей Петрович?— и протянул сильную горячую ладонь.— Сергей Яковлевич Лобанов. Поднимемся ко мне.— И, не ожидая согласия, отправился вверх по лестнице.

Идти молча было неловко, и поэтому Шамин спросил:

— Ну как там все? Что у вас там?..

Сергей Яковлевич покивал улыбчиво, но не ответил.

При их появлении дежурная по этажу почему-то поднялась со своего места, и не успели они подойти к ней, а она уже протягивала ключ от номера.

Шамину показалось, что редакция, из которой он только что вышел, теперь где-то далеко, в другой жизни.

Номер был маленький, аккуратный, нежилой. Никаких посторонних предметов, если не считать небогатого пальто Сергея Яковлевича.

— Ну вот,— сказал Сергей Яковлевич,— располагайтесь. Раздевайтесь, можно повесить сюда...

— Раздеваться я не буду, так как времени у меня в обрез,— сказал Андрей и развалился в кресле.— Так что же вы мне хотели рассказать о моих бывших сослуживцах? Как они там?..

— Нет уж, Андрей Петрович,— с мягкой настойчивостью сказал хозяин номера,— вы уж разденьтесь, пожалуйста,— и улыбнулся по-дружески,— а то выйдете, простудитесь... Давайте ваше пальто, вот так...

Он медленно повесил пальто Шамина на вешалку, затем подошел к двери и повернул ключ.

— Это чтобы нам не мешали,— пояснил он, затем неторопливо устроился в соседнем кресле и протянул Шамину красную книжечку...

— Я уже догадался,— сказал Андрей сухими губами.— Не понимаю, к чему эта таинственность? Как будто нельзя проще...

— Да можно, Андрей Петрович, можно, конечно, можно,— сказал Лобанов мягко,— вы после все поймете... Простите меня за маленький обман, но это в ваших интересах... Все своим чередом, как говорится,— и вдруг стал похож на маминого брата Михаила. Не сводя с Шамина внимательных глаз, сказал: «Просто хочу с вами побеседовать...»

Андрею было страшно и интересно: он встречал многих сотрудников госбезопасности, но все эти встречи были официальными и сухими, и даже зловещими, а здесь грозы не чувствовалось, вкрадчивая манера Сергея Яковлевича успокаивала, и Андрей поймал себя на том, что с нетерпением ждет этой беседы.

— Видите ли, Андрей Петрович,— сказал чекист тихо, по-домашнему,— вы человек просвещенный и знаете, какие нынче времена, какая переделка идет в стране... Это вам не тридцатые годы, а пятьдесят пятый... И эта переделка, как вы понимаете, коснулась и наших органов. В них проведена большая чистка, мы избавились от людей, скомпрометировавших и себя, и нашу организацию. Да, много горя испытали советские люди от злоупотреблений всяких мерзавцев, пробравшихся в органы. Теперь наша задача по возможности, насколько это возможно, вы понимаете, насколько это возможно залечить раны невинных и честных людей, вы понимаете? Залечить и вернуть нашей организации доброе имя...

— Да, конечно,— сказал Андрей с трудом.

— Теперь,— продолжал Сергей Яковлевич,— мы должны заниматься не столько карательной деятельностью, сколько профилактической, вы понимаете?

Андрей кивнул и почувствовал в горле клубок.

— Значит, теперь наша задача, Андрей Петрович, по возможности излечить от травм, от страшных моральных травм многих советских людей, которые в течение долгих лет подвергались гонениям, оскорблениям, подозрениям и тому подобное, ну, таких, как вы, например, вы понимаете? Мы хотим, чтобы не на словах, а на деле вы увидели, что

времена изменились и что ваша родина снова доверяет вам... Доверяет вам даже свои тайны, вы понимаете? Хочет доверять, вы понимаете?

— Понимаю,— сказал Андрей Шамин, и помимо его воли глаза наполнились слезами.

2

В детстве Андрей Шамин мечтал умереть на баррикаде или в крайнем случае стать бесстрашным разведчиком. Но к тому времени баррикад что-то не было, а в разведчики не приглашали. Друзья его отца, такие, как Зяма Рабинович, уезжали в европейские страны и в Америку под вымышленными именами и там обучали французских, немецких, бразильских и прочих пролетариев высокому искусству разрушения несправедливого мира, в котором одни эксплуатировали других,— чтобы переделать мир и чтобы все пошло наоборот.

Его отец, Петр Шамин, вел суровую жизнь партийного аскета, лихорадочно переделывая Россию. Он почти не ел, вовсе не спал, метался по вверенному ему участку, повторяя про себя и вслух:

«Давай! Давай!»

Когда приемник передавал речи Сталина, он забывал все кругом, и на его лице выражалось столько счастья и влюбленности, что хватало бы на десятерых.

Семья жила по тем же законам. Андрей учился в школе, знал наизусть имена всех выдающихся коммунистов планеты, презирал капиталистов, ненавидел вражеских шпионов, троцкистских двурушников и мечтал погибнуть на баррикаде.

Наконец подошла середина тридцать седьмого года, и вдруг выяснилось, что и его отец не кто иной, как матерый германский шпион и тот самый троцкистский двурушник. Конечно, это было больно и стыдно, тем более, что в пятом классе, где он учился, об этом сразу же стало известно, и на него указывали пальцами. Впрочем, через неделю стало полегче, ибо у большей половины учеников родители тоже оказались германскими, английскими и даже японскими шпионами и диверсантами. Да, стало полегче, как это всегда бывает в коллективе.

Его мать, которую в день ареста отца исключили из партии, кинулась в Центральный Комитет, чтобы объяснить недоразумение, происшедшее с отцом Андрея. Она ходила туда в течение целого месяца. Славные чекисты, на которых с грудного возраста молился Андрей, работали четко и безошибочно, и однажды в прекрасную ночь увезли и его мать. «Значит, она виновата тоже»,— сказал он сам себе, не сдерживая слез.

Тут не мешало бы упомянуть об одном маленьком эпизоде. Андрей проснулся ночью оттого, что чем-то металлическим проводили по батарее центрального отопления. В комнате горела лампочка, за окном сто-

яла ночь. Возле батареи на короточках стоял домовый слесарь Паша и что-то проверял.

— Паша, — спросил Андрей, — ты почему ночью?

Паша обернулся, и Андрей увидел незнакомого человека.

Тут в комнату вошла заплаканная мама, и Андрей понял, что идет обсык. Потом она поцеловала его и ушла, втянув плечи.

В этом эпизоде, в общем, весьма ничтожным, был, видимо, некий мистический смысл, ибо он запомнился на всю жизнь.

И вот партия очистила свои ряды от скверны, коммунисты на Западе поздравляли своих русских братьев с очередной своевременной победой, и строительство социализма продолжалось.

Конечно, Андрею было трудно. Быть сыном врагов народа всообще нелегко, а такому, как он, особенно. Потому что, надо же, чтобы именно с ним произошло все это, с ним, знающим наизусть имена всех видных коммунистов на планете и мечтающим умереть на баррикаде. Но он не отчаивался и мужественно преодолевал тяготы, выпавшие на его долю.

Они жили вдвоем с бабушкой на ее маленькую пенсию. Он ходил в рванье, недоедал, но на облупившейся стене над его кроватью висела фотография великого венгерского коммуниста Матиаса Ракоши.

Коммунальный сосед Тяпкин заглядывал иногда в комнату и с опаской спрашивал: «Это кто?», а услышав, кто это, говорил: «Какой человек! Личность. Замечательно!.. Друг Сталина, говоришь? Ну, слава Богу...» Потом Андрей напоминал забывчивому и не очень искушенному в политике соседу, что Ракоши находится в героическом подполье и борется с фашистами. «Да неужели? — изумлялся Тяпкин. — Ну надо же, какой человек! Вот это человек!..»

Да, сознавать себя сыном врагов народа было горько. Особенно горько было представлять, как его отец ползет сквозь ночь с динамитом, чтобы взорвать водокачку или трансформаторную будку, а его мать тем временем отравляет городской водопровод. Но еще страшнее и невыносимее было ощущать себя одиноким, без мамы.

Бабушка втихомолку плакала, а он на нее за это сердился и говорил: «А если бы их вовремя не разоблачили, наша страна не жила бы так счастливо... Ты думаешь, социализм так вот тяп-ляп и построили? Да?.. А враги, думаешь, спят? А ты знаешь, если бы, к примеру, в гражданскую войну Ворошилов бы узнал, что его помощник — враг, он стал бы его жалеть?.. Ведь этот враг мог их всех ночью перестрелять... Вот тебе и а-а-а». Когда же бабушка робко заикалась о маме, он говорил хмуро: «Ну что мамочка... Значит, что-то было». Но тайком думал с обидой неизвестно на кого о том, что это несправедливо, что его мать, — такая коммунистка и вдруг — диверсантка... а вот Тяпкин, театральный администратор, и не шпион, и не диверсант. И по ночам он иногда просыпался, и проклятые слезы душили его.

Иногда он воображал, что его вызвали в Кремль, и там лично сам товарищ Сталин, добро щурясь, вдруг раскрыл ему невероятную тайну: оказывается, отец Андрея вовсе не троцкийский двурушник, и все это придумано, чтобы тайно переправить Петра Шамина в одну фашистскую страну с особым заданием на неопределенное время. «А мама?» — спрашивал Андрей. «Мама тоже», — говорил Сталин и гладил его по голове. А вокруг стояли соратники вождя: Ворошилов, Молотов, Каганович и тоже улыбались.

Так он воображал, постепенно стал в это смутно верить, и это давало облегчение.

Однажды он столкнулся на улице с близким другом своего отца да и вообще всей семьи, которого он обожал и которого давно уже не видел. Друг стоял на остановке автобуса и читал газету. Андрей вспомнил, как играл с ним этот высокий, красивый коммунист, весельчак и выдумщик, какие дарил ему подарки, как водил его в зоопарк и в кино, как любил и отца и мать, и ниточка, протянутая из детства, задрожала вдруг, тенькнула, кольнула: «Дядя Саша, дядя Саша!.. Пойдем же к нам, к бабушке!..» Друг очень удивился, увидев Андрея, потрепал его по щеке и впрыгнул в подошедший автобус. Бабушка, слушая его взволнованный рассказ, как всегда, пустила слезу, а после объяснила ему, что дядя Саша живет далеко от Москвы и что он уже звонил, и если выберет время, обязательно пойдет к ним. И действительно, зашел, но, к сожалению, тогда, когда Андрей был в школе. Он оставил ему конфеты «Мишка» и убежал, так как опаздывал на самолет. «Где же он живет?» — огорченно спросил Андрей. «А в этом самом, — сказала бабушка, — ну в этом... ну как его...» — и снова заплакала.

Через несколько дней Андрей встретил дядю Сашу на той же остановке. Дядя Саша поглядел на него, отвернулся и вскочил в автобус.

Андрей был хорошим пионером и все понимал. Понял он и это.

А дома все тот же Матиас Ракоши глядел с облупившейся стены, и неутихшие бури с новой силой вспыхивали в душе Андрея.

Вдруг грянула война с япошками. Япошек, конечно, разбили. Потом освободили Западные Белоруссию и Украину, Молдавию, и вовремя это сделали — немецкие и румынские фашисты прихватили бы эти территории и превратили бы их в концлагеря. А тут вошли наши красноармейцы, выпустили из тюрем коммунистов и стали помогать народу строить новую счастливую жизнь.

Потом полезли финны. С финнами пришлось повозиться. Дело в том, что у них все оказались снайперами, даже дети. Это вместо того чтобы учиться в школе, финские дети вынуждены были обучаться стрельбе. Впрочем, какие дети? Не дети рабочих, конечно, а дети лавочников и буржуев. И вот теперь, маскируясь в лесах, они убивали наших красноармейцев, командиров и политработников, которые хотели установить у них социализм и жертвовали собой, замерзая в финских болотах, а эти, ослепшие от буржуазной пропаганды, стреляли в них и стре-

ляли. Где же были финские рабочие? Почему же они молчали? Неужто все томились в фашистских застенках?

Все эти вопросы очень мучили Андрея, когда он выстаивал длинные очереди за хлебом в сорокаградусные морозы, одетый в дырявый плащ и в дырявые брезентовые сапоги. Эти вопросы мучили его и тогда, когда, не выдержав мороза, бросался на несколько минут в здание ближайшей почты, и тогда, когда возвращался домой с хлебом и когда глядел на портрет непреклонного венгерского борца за народное дело.

Он был пионером и все понимал. И если его не избирали в школу куда-нибудь, он не обижался, и вожатой, которая краснела и бормотала маловразумительные утешения, говорил гордо и внушительно: «Я понимаю, что мне нельзя доверять. Конечно, лично я себе ничего не позволю, но среди нас могут быть и такие, у кого связь с родителями... А как узнать, кто честный, а кто нет, правда?» Вожатая смотрела на этого тринадцатилетнего патриота с благодарностью и страхом.

В классе изучалась сталинская Конституция. Учитель Конституции был коммунистом. Он все время напоминал об этом: «Мы, коммунисты, знаем...» — говорил он при всяком удобном случае. Или: «Мы, коммунисты, видим...» Конституцию Андрей изучал с увлечением, так что мог объяснить каждому, что жизнь в Советском Союзе потому и хороша, что она развивается по сталинской Конституции, а в капиталистических странах такой Конституции нет или есть какая-нибудь буржуазная, и потому в этих странах творится черт знает что.

«А где же финские рабочие?» — спросил он однажды у учителя. — Почему они не поднимают восстание?» Учитель очень рассердился и сказал, что знает, откуда в голове Шамина эти провокационные мысли, и что не мешало бы высанить социальную природу его бабушки... Андрей все понял и виновато покраснел.

Наконец наступила весна сорокового года. Финны были разгромлены, и у них отняли большой кусок территории, чтобы они не могли угрожать Ленинграду. Все встало на свои места.

После школы он выходил во двор поиграть. Ребята были во дворе разные, и судьбы у них были тоже разные, и среди них было много таких, как Андрей, детей врагов народа. Как это водится у детей, один из них был главным. Это был Витька Петров. Ему было уже почти шестнадцать, и он собирался бросать школу и идти на завод. «Мы рабочий класс», — говорил он и при этом страшно матерился. Каждому из своих подчиненных он дал кличку: Юрку Хромова, например, он назвал шпионской мордой, потому что отец Юрки был английским шпионом; еврея Моню — жидом; Андрея — троцкистом; Машу Томилину — проблядущой, потому что у ее матери часто сменялись кавалеры. Обижаться на клички не полагалось, а кроме того, можно было от Витьки заработать «по рылу». Долгое время «порыла» была для Андрея таинственной непонятной угрозой, пока, наконец, Витька однажды не ударил

Андрея по лицу за строптивость, и тут же все стало ясно: оказалось, что «по» — предлог, «рыло» — рыло, и писать все это следовало раздельно.

Игры были разные, но чаще всего играли в Чапаева. Конечно, Чапaeвым всегда бывал Витька, а остальные — беляками. Они должны были набрасываться на него, а он кричал: «Врешь, Чапаева не возьмешь!» И бил ребром ладони по чему попало: «Бей троцкистов! Бей жидов!» ...Хрясь-хрясь... «И тебе, шпионская морда!.. И тебе... И тебе!..» Хрясь-хрясь... После игры, усталые, но счастливые, они обычно отдыхали на скамейке, обмениваясь впечатлениями и хвастаясь ранами. Иногда Андрей говорил: «Эх, вот бы нам всем на баррикадах очутиться!..» И тогда Витька беззлобно, по-дружески проводил пятерней по его лицу: «Куда тебе, троцкист...» Все смеялись. «Да я знаю, — виновато улыбался Андрей, — но ведь хочется...»

Иногда они играли в разведчиков. Это происходило так: если разведчиком был Витька, то все остальные становились немецкими или французскими полицейскими. В глубине двора на видном месте клали какой-нибудь предмет, чаще всего обломок кирпича или обрывок газеты. Полицейские охраняли этот предмет, а Витька должен был его выкрасть. Игра начиналась. Витька богатой фантазией не отличался, он сразу бросался к предмету, полицейские пытались ему помешать, но... Хрясь-хрясь... «Вот тебе, шпионская морда!.. Бей жидов! Бей троцкистов!..» Хрясь-хрясь ребром ладони по чему попало, и задание выполнено.

Если же Витька желал быть контрразведчиком, то все остальные становились матерыми шпионами, и уже они должны были выкрасть условный предмет, и тогда Витька становился у этого предмета, а остальные пытались до него дотянуться, но... Хрясь-хрясь... «Вот тебе, жиденка!.. На тебе, троцкистская харя!.. Куда прешь, шпионская морда!.. Врешь, рабочего не возьмешь!.. А ты куда, проблядушка!..» Хрясь-хрясь...

На Витьку никто не обижался. Витька был свой. И когда однажды во двор пришли чужие ребята и стали приставать к Моне, и даже ударили его, Витька накинулся на этих ребят, бил их и приговаривал: «Нашего жиди бить?! А вот вам, так вашу!..» Затем взял одного из чужих за шиворот и сказал Моне: «А ну-ка, жиденка, дай ему». Мона сначала заколебался, но Витька прикрикнул, и Мона ударил парня по лицу. В этот момент Андрей восхищался Витькой, потому что Витька заступился за слабого, а кроме того, проучил хулигана, оскорблявшего национальность, как фашист. Ведь вот Зяма Рабинович тоже был евреем, а бесстрашно уезжал в капиталистические страны и жил там нелегально, а в Аргентине сидел в тюрьме, а в Германии за ним охотилось гестапо, а этот высокий голубоглазый коммунист ничего не боялся и выполнял задания Коминтерна.

Прошел год, другой.

Андрею было уже пятнадцать. Он бредил комсомолом, но в комсомол его не принимали по понятным причинам, и он не обижался.

Игры во дворе прекратились. Витка работал на заводе, а после работы выпивал со старшим братом. Остальные учились, а тут еще началась любовь. Сначала Юрка Хромов полюбил Машу, но не успели они вдоволь погулять, как во дворе появились чужие ребята и отбили Машу у Юрки. Маша бросила школу, начала покуривать. Ее мать, посудомойка в ресторане, который помещался в их же доме, бегала за ней с палкой, но вскоре перестала, махнула рукой. Чужие ребята уводили Машу на чердак и там вместе с ней распивали краденую водку. Потом они исчезли, а Маша рассказывала своим ребятам, как она там, на чердаке, давала им всем по очереди и теперь, наверно, скоро забеременеет. Играть было не во что да и вроде бы стыдно. Они все влюблялись в Машу, и она с ними не чинилась. Потом она навела своих подружек, и образовались пары. Теперь они все вместе залезали на чердак и развлекались там, кто как умел.

Андрей уже было совсем свыкся с мыслью, что его родители находятся на особой работе за рубежом, и втайне надеялся, что вот-вот они объявятся, и жить станет легче и проще, как вдруг приехал кто-то откуда-то, побывал в доме в отсутствие Андрея и рассказал бабушке по секрету, что отец и мать живы, но находятся в лагере со строгой изоляцией и потому не могут о себе сообщить.

Это был сильный удар. Миф развеялся. Надежда на чудо заколебалась и рухнула. Вместо возвышенного служения Родине вновь были лагерь, троцкисты, германские шпионы, заплаканная бабушка и дырявые сапоги. Но Андрей и на этот раз не пал духом. Он смог убедить себя, что именно с его родителями произошла ошибка, а с остальными все было правильно. Потому что, если бы они и вправду занимались диверсиями и шпионажем, то их расстреляли бы, а если живы, то их вопрос выясняется и скоро выяснится. И эта мысль дала ему снова маленькое облегчение.

Лето сорокового года было жарким и многообещающим. Вообще летом было хорошо: легче было наестся, не нужно было кутаться, хватало тапочек и маек. Летом можно было долго гулять, а не сидеть в обшарпанной комнате перед заплаканной бабушкой. Можно было мечтать о поступлении в техникум связи, чтобы стать полярным радистом, как Кренкель, и, героически поединоборствовав с ледяной стихией, вернуться в Москву знатным полярником, а не сыном врагов народа. Кто-то подал эту мысль, и Андрей бросился в техникум. Но его не приняли туда как сына врагов народа, так как средства связи нельзя доверять врагу.

К Тяпкину приехала из деревни тетка, старуха с морщинистым печеным лицом и с грубыми узловатыми руками, вскоре выяснилось, что она и не такая уж старуха, а просто «...денек с землицей помаешь — сам печеным станешь...»

Она всего в городе боялась и никуда не выходила, сидела на коммунальной кухне, смотрела в окно или пила чай.

«Ну, как у вас в деревне? — спрашивал Андрей, — хорошо теперь без кулаков?» И вглядывался в бледно-голубые глаза старухи. «Теперь, слава Богу, хорошо, — отвечал за нее Тяпкин, — раньше ведь кулаки эксплуатировали, а теперь без них хорошо». «Вот в капиталистических странах, например, — говорил Андрей, — крестьяне с голоду умирают». «Да, — говорил Тяпкин, — во Франции, например». «Или в Германии, — говорил Андрей, — крестьяне трудятся на помещика, а самим есть нечего». «Не то что у нас, — соглашался Тяпкин, — там безобразие сплошное». «Да не только есть нечего, — продолжал Андрей, — попробуйте, например, в Германии сказать что-нибудь не так — сразу в концлагерь посадят...» «Они там понастроили лагерей, — объяснял тетке Тяпкин. — Вся страна в концлагерях». Тетка пила чай и молча слушала. «Мы боремся с врагами народа, — восклицал Андрей, — а они с народом! У нас колхозник — хозяин земли, он сам решает... А у них что?» «Безобразие одно, — возмущался Тяпкин. — Ну ничего, Андрюша, товарищ Сталин и до них доберется». «Красная Армия самая сильная в мире!» — провозглашал Андрей. «Самая!» — откликнулся Тяпкин. «Разве мы смогли бы жить счастливо, если бы она не стояла на страже? — спрашивал у тетки Андрей. — Сразу бы напали капиталисты и разрушили все колхозы!» «Ужас! Ужас! — говорил Тяпкин, вглядываясь в рваные тапочки Андрея, — они не только разрушили бы колхозы, они перестреляли бы всех коммунистов!» «Моя бабушка получает пенсию, а у них старым пенсию не дают! — кричал Андрей. — Постарел — умирай с голоду!» «Там дети чахнут, — объяснял Тяпкин тетке, — а у нас, например, вот Андрюша может бесплатно учиться в школе, он может стать полярным радистом...»

Так кричали они, перебивая один другого, а тетка пила чай и молчала.

Тем временем Витьку Петрова призвали в армию. Перед уходом он напился с братом и вышел во двор прощаться. Все уже собрались там. Однако прощание вышло странным. Витька был сильно пьян, ничего толком сказать не мог, а лишь схватил Андрея за горло, сдвинул его и спросил: «Ну... чво отцу-то твоему сказать?» Андрей еле вырвался. Все разбежались. Витьку увели.

3

— Конечно, — сказал Сергей Яковлевич. — Что уж говорить о безвинно замученных, но ведь дети... дети несли на себе эти клейма, вот вы, например, такие, как вы, их многие сотни и тысячи! Еще предстоит все это проанализировать, понять причины...

— Честно говоря, — сказал Андрей, — я уж и верить перестал, что кончится вот так...

— Это как?

— Ну, то есть, вы мне будете говорить, что произошла ошибка, что мои родители не виноваты, и сам я не отрезанный ломоть...

— Преступление, Андрей Петрович,— сказал Сергей Яковлевич, ударив кулаком по колену,— не ошибка, а преступление! Что уж теперь скрывать-то... Но я вижу, что в газете к вам отношение...

— У меня все хорошо,— сказал Шамин,— теперь-то все хорошо.

— Вы мне очень симпатичны,— сказал Сергей Яковлевич,— я вам чертовски сочувствую, ей-богу. Ваш дядя Саша, этот Лемешко Александр, его тоже судить нельзя...

— Какой Лемешко?— спросил Шамин недоумеая.

— Ну этот, дядя Саша, друг вашего отца, который испугался встретиться с вами...

— Откуда вы-то знаете?— поразился Андрей.

Сергей Яковлевич мягко улыбнулся:— Мы все знаем, Андрей Петрович, и даже больше того, но не в этом дело... А в том, что Лемешко тоже погиб в лагере,— он покачал головой,— хороший был человек...

За дверью — лежал гостиничный коридор, там раздавались шаги, там шла своя жизнь. Все прошлое казалось в тумане, все: и боль, и недоверие, и отчаяние, и одиночество, и липкий страх на ладонях изгоя...

— Вы человек молодой, здоровый, талантливый,— сказал Сергей Яковлевич,— вас уже широко знают по газетным публикациям, как будто все уже в порядке... Да, кстати, как вам даются языки?

— Сейчас занимаюсь английским,— сказал Андрей.

— Славно,— улыбнулся Лобанов,— натуры романтические обычно хорошо воспринимают чужие языки... Слух тонок, что ли, или какая-то там струнка... струнка...

— Что же во мне романтического?

— Ну, как же, Андрей Петрович, такое детство, порывы и это... слезы на глазах,— он засмеялся по-доброму,— повышенная эмоциональность...— и снова напомнил маминого брата,— вот, собственно, и все, что я, собственно, хотел...— они прощались с открытым сердцем,— большая просьба: не рассказывать о нашей встрече. Пусть это будет между нами. Хорошо? Ну и отлично.

Лицо его было прекрасно. Улыбка старого друга и мягкие жесты из боязни поранить.

— Да, кстати,— сказал Сергей Яковлевич на самом пороге,— там эта история с военным училищем... ну вы их здорово провели... это говорит о сметливости... вы человек сметливый... сметливый...

...Началась война. Сразу не стало масла, хлеба, сахара, мяса. Фашистские полчища приближались. Прав был товарищ Сталин, уничтожая внутренних врагов. Они бы сейчас подняли голову, и стране при-

шлось бы туго. Однако их успели обезвредить, и народ взялся за оружие, не опасаясь пятой колонны.

Правда, немцы засылали своих шпионов и диверсантов, которые наводняли Москву и окрестности, и уже каждый второй казался шпионом, но все-таки их легче было обезвредить, потому что они сами выдавали себя «ненашим» поведением.

Наши отступали и отступали, потому что немцы напали внезапно. Наконец Сталин послал Ворошилова на западный фронт, а Буденного — на южный. Теперь можно было ждать победы... Но наши отступали и отступали. Андрей бросил школу и пошел на завод. Это был маленький завод, где раньше делали кастрюли, а теперь ручные огнеметы, и Андрей работал по четырнадцать часов в сутки, и никто не вспоминал, что он сын врагов народа.

Так прошел год. Андрею исполнилось семнадцать лет, и он добился в военкомате, чтобы его взяли в армию. Это был один из самых счастливых дней в его жизни. Теперь он мог сам с оружием в руках драться с фашистами. Скоро кончится война, и фашисты будут разгромлены, и Красная Армия пойдет вперед, освобождая Европу от фашизма и капитализма. Но война не кончилась ни на второй год, ни на третий. Она кончилась лишь на четвертом году, когда Андрей был уже дважды ранен. Он прошел всю войну, и никто за четыре года ни разу не напомнил ему, что он сын врагов народа, если не считать двух случаев, да и то сам Андрей был в них повинен.

Первый был вот какой.

После ранения и госпиталя занесло Андрея Шамина в запасной полк на Кавказе. Это была отставная часть, где не было никакой муштры, а просто тихое прозябание за колючей проволокой на голодном пайке в ожидании вербовщиков. Вербовщиков ждали, как манны небесной, ибо в полку все были бывалые фронтовики, а это прозябание становилось с каждым днем все унизительнее и унизительнее. Пусть смерть, раны, бессонные сутки, только бы не это полуарестантское безделье. Кто-то даже предположил, что кормят впроголодь и жить вынуждают в тесных вагончиках с общими нарами, где повернуться на другой бок можно только по команде всем вместе, чтобы осточертела такая жизнь и фронт грезился избавлением. Очень может быть.

Какой-то злой гений планировал настроения армии, и армия проклинала запасные полки и одуревших от сна и голода командиров.

По утрам были разводы на занятия. Затем взводы расходились по окрестностям военного городка, добирались до укромного овражка, и тогда под общий невеселый смех раздавалась команда спать. Пустые животы урчали. Некоторые и впрямь располагались под кустиками, остальные курили до одури, собирали съедобные корни, разную травку, с ужасом говорили о предстоящей осени. Дотягивали так до обеда, затем швыряли несколько боевых гранат в глубину овражка и с вялой песней отправлялись в полк. Эхо разрывов доносилось до полка, чтобы

все знали, как славно потрудились солдатики. В обед разливали по котелкам жидкую баланду, в которой по-нищенски шевелились редкие ржавые галушки. Животы начинали урчать сразу же после обеда. И так каждый день, и никакого просвета. Раздражали слухи, что вот опять из соседней части ушла на фронт маршевая рота. Плакали от беспомощности. Но наконец и в их полку сформировалась маршевая рота: с песней в баню, по большому куску мыла, новое обмундирование — голубая мечта, особенно — американские ботинки. С песней из бани, а утром эшелон. Маршевая рота направлялась в Батуми, а оттуда путь лежал к Новороссийску, в самое пекло. Замечательно! Давай-давай! Поезд тронулся, и тут началась несусветица. Андрей смутно помнил детали. На первой же станции большинство обменяло у крестьян американские ботинки на чачу, хлеб, сыр, получив взамен, кроме продуктов, по паре старых сношенных ботинок. Поезд тронулся, и по вагонам раздалось пение. Маршевая рота была пьяна. Андрей выпил тоже и закусил, и умилился, и на следующей остановке ловко обменял свои ботинки, натянул на ноги бесформенную стоптанную кожу, получил чачу и кукурузные лепешки. Затем начали обменивать новые гимнастерки и штаны, за все получая старую рухлядь, и питье не прекращалось. К Батуми рота преобразилась до неузнаваемости. Андрей, чтобы хоть немного протрезветь, уселся на вагонную подножку. Прохватило ветерком, мазутным духом. Потом пошел дождь. Небо было ясное, а дождь не унимался. Андрей поднял голову и увидел, что над ним навис командир роты: белое лицо, невменяемые глаза, пальцы на ширинке. «Эй!» — крикнул Андрей, заслоняясь от струи, но комроты ничего не соображал.

Так, хмельных и истерзанных, довели их до Батуми, и они добрались до загородных казарм и повалились на солому. Проснулись утром — толпа оборванцев. Ждали возмездия, но наказывать было некого: все отличились. День был свободный, и кто-то предложил пойти осмотреть загородный дом Берия. Так отделением и пошли. На противоположной окраине Батуми, на высоком холме, им открылся роскошный особняк кремовых тонов. Охраны не было. Походили вокруг, заглянули в большое окно — прохладная столовая комната предстала перед ними. «Ничего дачка!» — сказал кто-то восхищенно. Длинный овальный стол, шестнадцать кресел, старинный дубовый буфет, посверкивало серебро, голубел хрусталь. «Ни сторожа, ни собаки...» — удивлялся Коля Гринченко. «Он сюда прилетает на день-другой выпить-закусить», — сказал Сашка Золотарев. Почему-то обстоятельства жизни у Андрея никак не связывались с именем владельца дачи. Какая-то невероятная сказка стояла перед глазами. Отец, мать, все его прошлое были где-то там, в холодном тумане, а здесь — край земли, кремовая крепость, море, безлюдье и покой.

Ночью Коля Гринченко и Саша Золотарев исчезли, растворились в синей дымке, а на рассвете прокрались на свои места, но Андрей проснулся. Они его опекали, как младшего, и шепотом поделились с ним.

Оказалось, что они пробрались на заветную дачу, вскрыли замок и в скатерти унесли оттуда серебро и хрусталь. Где-то умудрились найти перекупщика и спустили все по срочной фронтовой цене. И Андрею перепала белая булка с пахучим куском колбасы, и ему передались от них лихорадка, и дрожь, и ожидание наказания. На следующий день грабителей разоблачили. Как уж это получилось, сказать трудно. Их арестовали, но к вечеру выпустили: все равно на фронт идут, все равно под пули... И вот их освободили перед лицом возможной гибели: некогда было с ними возиться или что-то другое. А утром пришел приказ вернуть маршевую роту в запасной полк на доработку. И поехали. Вот вам и трибунал!

В запасном полку продолжалась прежняя жизнь, однако недолго. Их снова одели в новое, заменили им командира. Тут приехала тетя Сильвия, сестра матери, навестить Андрея. Свидание было коротко и странно. Андрей ликовал по поводу скорой отправки, а тетка грустила и пыталась умолить командиров... Затем она уехала, а роту подняли по тревоге, чтобы вести на вокзал. Тут всех построили, выкрикнули Андрея. Он вышел перед строем... Остальным скомандовали: «Направо! Марш!» И рота отправилась на вокзал, оставив Андрея на плацу в одиночестве. Он бросился к политруку, дознавался, выясшивал, но ему сказали: «Рота пошла на пополнение гвардии». «Ну и что же?» — не понял он. «А то же, что сами должны понимать», — сказали ему, — не всем в гвардию можно». «Так ведь у многих отцы арестованы!» — крикнул он. «Кругом!» — крикнули ему, и он отправился в свой опустевший вагончик.

Только после войны в припадке откровенности тетка рассказала, как привезла с собою несколько бутылок коньяка и еще кое-какие дары, и ей пообещали не отправлять Андрея с ротой, благо было за что ухватиться. Но это стало известно после войны, а тогда, когда о нем забыли, он умудрился записаться в военное училище. Случилось же это так. Через два месяца после печального расставания с ротой нагрянули вербовщики, и Андрей попал в артиллерийскую бригаду. Отсюда было до фронта рукой подать, и, действительно, спустя месяц бригада была брошена на передовую, и там в первом же бою Андрея контузило. После госпиталя он записался в стрелковое училище, чтобы избавиться от тягот солдатской жизни: надоело рыть окопы начальству. Так он подумал и записался, а через неделю пожалел, да было слишком поздно. Это было долговременное училище с жестокой муштрой, от которой Андрей успел отвыкнуть, но вырваться из него было почти невозможно. Тогда Андрей явился к начальству училища и сообщил, что его родители — враги народа. Начальник вздрогнул, но сказал: «Что ж с того? Сыновья ведь за отца не отвечают...» «Так точно, — сказал Андрей, — я понимаю, я просто не хочу, чтобы думали, что я скрыл». На следующее утро был приказ об его отчислении, и он отправился в запасной полк.

— Нет худа без добра, — рассмеялся Сергей Яковлевич, — а история с коньяком нам известна, тетка у вас была виртуозная.

— Тетка как тетка, — сказал Андрей, — откуда же это вам известно?

— Нам все известно, — вновь рассмеялся Сергей Яковлевич, и снова как при первой встрече, Андрей почувствовал доверие к этому человеку. Но ведь это и хорошо: никакой злоумышленник не сможет эти сведения использовать вам во зло... Тут вы можете не сомневаться...

Конечно, Андрей рассказывал об этой истории, иначе как бы она стала известна? Но вот кому — это вспомнить не мог.

— Я дам вам адрес, — сказал Лобанов, — и если, ну, мало ли, нам понадобится еще раз встретиться, так уж не здесь, а там, ладно?

— Ладно, — легко согласился Андрей. С этим человеком ему было хорошо, от него исходило тепло, спокойное и уверенное. Была надежность в его жестах, в улыбке. Вообще уже много лет никто с Андреем не разговаривал столь дружелюбно, по-свойски, никто не слушал его так внимательно, так сочувственно, как Лобанов. Какие-то неясные предчувствия носились в воздухе, дух захватывало, и голова кружилась, и Сергей Яковлевич спросил:

— А как с английским? Думаю, у вас здорово получается. Уверен.

— Получается, — сказал Андрей, — мне нравится заниматься языками.

— И это хорошо, что английский, — сказал Сергей Яковлевич, — очень хорошо.

— Чем же? — не понял Андрей.

Тот засмеялся вкрадчиво и дружески. Да, старший друг, похожий на дядю Михаила, свой человек. «Есть одна задумка, Андрей Петрович, очень конкретная... Отчего бы вам не съездить в Америку?...» Он дал время Андрею прийти в себя, усмехнулся и сказал: «Вот именно, отчего бы?... Ну, допустим, отправитесь вы туда в качестве баптиста, а? И будете там жить-поживать...»

— Какого баптиста? Зачем? — прошептал изумленный Андрей.

— Да нет, — сказал Сергей Яковлевич, — не сразу, конечно, — постепенно... Это же интересно, при вашем воображении, фантазии. Вы едете, ну, допустим, в Сибирь, в сибирский город, и там вы вступаете в баптистскую общину, понимаете?...

— Кто же меня?... Как же я туда?..

— Это наша забота, Андрей Петрович, дорогой, наша... И вот вы вступаете в общину, привыкаете к их порядкам, правилам, знакомитесь с соответствующей лексикой, понимаете? Затем уж мы переправляем вас в Штаты, там у них существует обмен, ну, такая форма, понимаете?

— И что же я делаю?

— А ничего,— сказал Сергей Яковлевич, глядя в Андрей,— ничего, живете, и все тут...

— Странно, очень странно,— сказал Андрей,— я что, должен быть шпионом?

— Ну почему шпионом, Андрей Петрович,— засмеялся чекист,— уж если на то пошло, то разведчиком, но это, понимаете, чистая условность. Живете, и все тут, вырастаете в их быт, нравы... Ну, мы поддерживаем связь, и вы информируете нас о настроениях... И все... Ну, конечно, это в отрыве от дома, от семьи...

Пудрит мозги, подумал Андрей, а если и в самом деле?

— Внешние данные ваши очень годятся,— сказал Лобанов,— и обаяние в вас есть, и способности, вот язык вам легко дается.

— Легко,— заторопился Андрей.

— Ну вот и ладно... Бывают люди тугие на ухо, вот им трудно.

— У меня хороший слух,— сказал Андрей,— легко запоминаю мелодии, интонации...

— Вот,— сказал Сергей Яковлевич,— то, что надо, понимаете? Именно это.

— Ну, а если меня раскроют, что же будет тогда?— спросил Андрей.

Карие глаза Лобанова сверкнули.

— Это безопасно, Андрей Петрович, никто вас не тронет...

Внезапно Андрей подумал, что обманывает себя, но это длилось лишь одно мгновение, а после все заволокло розовой дымкой приятных сновидений, даже галлюцинаций, потому что человек всегда хочет верить в лучшее, и сон представляется подлинным, ведь нельзя всю жизнь сомневаться в собственном предназначении, в тех, что вокруг тебя...

Он отправился в редакцию и, пока шел по улице, видел себя со стороны: высокий, сильный, упруго ступающий, знающий больше, чем выдает взгляд. Ночью видел прерывистые сны: себя в странном одеянии, в незнакомой обстановке... На следующий день хотелось куда-то бежать, с кем-нибудь поделиться. Пришло письмо от мамы. Получалось так, что она вот-вот вернется в Москву. Как переменялись времена! Он подумал, что надо почитать о баптистах, о том, что придется играть в верующего, как-то очень искусно притворяться. Хорошо ли? Впрочем, это дурно в частной жизни, но в большом деле, а это большое государственное дело... И потом он всегда любил театр и играл в драмкружках, и перевоплощался, и угрызения совести не мучили его, а напротив... Он ждал возвращения мамы уже давно, со смерти Сталина, пожалуй. Последние месяцы это стало реальностью, и острота первого предчувствия сгладилась... Она должна была приехать, а ему предстояло отправиться в Америку. Невероятно!.. Он взялся еще усерднее за английский язык. Тут ему крайне повезло. Дело в том, что он снимал маленькую комнату в частном доме на окраине. В соседнюю комнату въехала новая жилищ-

ка... Жиличку звали Анна Ильинична. То была невысокая женщина с большими печальными глазами, энергичная и приятная, но на ее лице лежал тревожный ответ иной жизни иных пространств, окруженных охранниками и колючей проволокой, и это угадывалось, да и на Андрее лежала печать, которую Анна Ильинична разглядела без затруднений, и они узнали друг друга и подружились... Анна Ильинична преподавала английский язык, интересовалась делами Андрея, и как-то так случилось вскоре, что стала играть в его жизни заметную роль, наподобие близкой родственницы. Она узнала о его занятиях английским и предложила свои услуги, просто, без вознаграждения, предложила так, что он не смог отказаться. Конечно, она ничего не знала о его блестящей перспективе, просто видела в нем азарт и сама загорелась, и теперь они по нескольку часов в неделю трудились вместе.

6

Недельки через две позвонил Лобанов и предложил встретиться, но уже в новом месте. Окончив работу в редакции, Андрей заторопился по известному адресу. Захватывало дух от предвкушения перемен в жизни. Вот уже две недели он жил в какой-то лихорадке и мутным взором сподобившегося выших благ обводил помещение редакции и ее сотрудников, погрязших в своих постылых областных буднях; и уличная толпа казалась ему жалкой, он готов был усмехнуться им в лица; и вообще все вокруг было из иного мира, чуждого и ничтожного рядом с тем, что предстояло ему.

И вот он вошел в подъезд обычного жилого дома и поднялся на нужный этаж, и нажал кнопку звонка.

Дверь ему отворила хмурая женщина. Ни слова не сказав, она удалилась прочь, а из ближайшей комнаты вышел Сергей Яковлевич. Комната, куда они вошли, была маленькая и нежилая.

Небольшой письменный стол, два стула и канцелярский шкаф — вот и все ее убранство. Сергей Яковлевич был в том же сером костюме, но в свитере и белых брюках.

— Ну, — сказал, — как я понимаю: у вас все в порядке...

— У меня все в порядке, — сказал Андрей, — учу английский.

— Читал ваши материалы в газете, — сказал Лобанов, — замечательно.

— А что там с моими делами? — спросил Андрей нетерпеливо.

— Ну, Андрей Петрович, дорогой, не все сразу, — друг улыбнулся по-доброму, — нужно время, время нужно, Андрей Петрович...

«Так зачем же вы меня вызывали?» — подумал Андрей.

И Лобанов словно услышал.

— Дело есть, Андрей Петрович, — и лицо его стало серьезным и сосредоточенным. — Вот какое дело. В Калужской области у нас идет строительство атомной электростанции...

— Я знаю, — сказал Андрей.

— И, как вы понимаете, западные разведки ищут пути проникновения туда, — сказал Сергей Яковлевич. — И вот, Андрей Петрович, дорогой, стало известно, что один из них движется в том направлении, понимаете? Возможно, что по пути он появится и здесь, в Калуге... У нас все поставлены на ноги.

Андрей вспомнил арбатское детство и Витьку Петрова с кирпичом, отбитым у полицейских, и улынулся.

— Вам ничего специально предпринимать не нужно, — сказал Сергей Яковлевич, не замечая улыбки, — для этого у нас есть люди, но на всякий случай, чем черт не шутит, хочется, чтобы вы были в курсе дела: вдруг он вам встретится, — и он достал из ящика стола фотографию шестя на девять и протянул ее, — вот его внешность.

С фотографии на Андрея хмуро смотрел немолодой мужчина с пушистыми бровями. Взгляд его был тяжел. Губы плотно сжаты. Темные волосы сходили короткими бакенбардами на виски.

У Андрея от волнения начали дрожать ноги, он переставлял их с места на место, чтобы не выдать себя. Потом задрожали руки. Он вернул фотографию и спросил:

— А если он ускользнет?

— В том-то и задача, — сказал Лобанов спокойно, — если вдруг встретите, то есть когда ни встретите — звоните. Вот номер. Я у аппарата... да, кстати, придумайте-ка себе псевдоним.

— То есть? — не понял Андрей.

— Ну, псевдоним, чтобы не трепать своего имени, ну, что-нибудь простое, запоминающееся...

— Коробов?.. — спросил Андрей.

— А хоть бы и Коробов, — засмеялся Сергей Яковлевич, — вот и славно, теперь вот здесь черкните, мол, буду пользоваться псевдонимом Коробов, вот бумажечка, вот так, и подпись, вот так... А теперь идите, Андрей Петрович, и помните, что от вас тоже многое зависит...

И Андрей вышел в февральский вечер.

Стужи он не чувствовал. О доме думать не хотелось. И заскользил, словно гончая, неслышной тенью по вечерним калужским улицам, высматривая запомнившееся лицо... Заглядывал в поздние магазины, повертелся у билетных касс кинотеатра «Центральный», прошел всю улицу Кирова, потом Ленина, погрелся на почтамте, заглянул в редакцию, пожалел ночного дежурного, хотел кому-нибудь рассказать о своей удаче, но сдержался, вновь заскользил со своей тайной, вглядываясь в лица редких прохожих, наконец отчаянно замерз и заскочил в аптеку. Посетителей не было. В аптеке было чуть теплее, и закутанная аптекарша спросила, что ему надо.

— Замерз, — признался он.

Она оставила его в покое. Скрипнула дверь, и вошел посетитель. Он пошарил взглядом по витрине и попросил аспирина. Она пошла за

лекарством, и тут Андрей увидел короткие темные бачки и вздрогнул: это был тот, с фотографии, за которым, сбившись с ног, охотились калужские профессионалы, тот, кто добрался почти до цели, живой и невредимый, и теперь дальнейшая его судьба зависела от расторопности Андрея. Жалости не было. Был азарт. В ближайшем автомате он набрал номер и услышал воркующий баритон Сергея Яковлевича.

— Коровов, — выдохнул он, — встретил в аптеке на Энгельса.

— Очень хорошо, — без удивления проговорил друг, — можете идти домой. Мы примем меры.

Было немного странно, что все кончилось так просто и буднично. Даже обидно. И не было ни борьбы, ни погони...

И все-таки, высокий и сильный, к дому он шел легкой пружинистой поступью.

7

Был уже канун мая. Мама написала уже из Москвы! Она была свободна! Ей дали квартиру. Перед ней извинились... Она ждала Андрея. Какое настало время! Анна Ильинична предложила отметить эти чудеса. Уж она-то знала, что это значит. Купили водки. Выпили за маму, за всех возвращающихся, оставшихся в живых. Помянули погибших. Прослезились.

— Какое страшное время, — прошелестела Анна Ильинична, — даже не верится, что все это можно было выдержать. И тебе, Андрюша, досталось, не приведи Господь! Теперь все пойдет иначе, я уверена. Вон ты уже и в газете работаешь. Доверяют... Скоро и я в Москву переберусь. Ну, давай помянем твоего отца.

Выпили, помянули. Так и пили за здоровье, за упокой, за здоровье, за упокой...

Потом Андрей неожиданно сказал шепотом:

— Скоро я в Америку попаду...

Она рассмеялась, и он рассказал ей все, даже о последней охоте в конце февраля... Она слушала, опустив голову, изредка изумлялась, быстро взглядывала на него, трезвая, зарумянившаяся, и снова никла. Он бодро завершил свой рассказ.

— Ты веришь во все это? — спросила она.

— Конечно! — воскликнул он шепотом. — Они же неспроста это доверили. Да и потом не боги горшки обжигают...

— Ну-ну, — сказала она и выпила.

Как-то все вдруг свернулось, погасло, что-то произошло.

— Ты с мамой посоветуйся, — сказала без интереса.

— Вы мне не верите? — удивился он.

— Тебе я верю, — сказала она, — верю, но с мамой посоветуйся, поговори обязательно, — и выпила снова.

Он так и решил после этого разговора: на майские праздники едет в Москву.

В редакции его отпустили на четыре дня. Накануне целый день он провел в хлопотах, в завершении всяких дел, а к вечеру позвонил Сергей Яковлевич и предложил встретиться... Предложение Андрей встретил без особого энтузиазма. Весь день думал о редакционных делах и, казалось, вовсе забыл и о вчерашнем разговоре с Анной Ильиничной, и об Америке, и о новом качестве, в котором очутился. Но телефонный звонок все напомнил, и все стало на свои места. И радости не было. Не было того, что случалось обычно накануне встречи: подъема, возбуждения, тайны, причастности к ней, когда все кругом кажется маленькими, жалкими и скучными. Не было этого. А была легкая апатия, и маячило перед глазами грустное, удивленное лицо Анны Ильиничны, ее большие трагические глаза, и как она опрокидывала рюмку и качала головой, слушающая его торопливую, захлебывающуюся, хмельную историю. Облачко недоумения витало вокруг него, пока он шел на свидание с другом, и что-то не так грело мягкое рукопожатие и вкрадчивые интонации, даже, чего не бывало раньше, раздражение коснулось его своим крылом, и потому, не успев усесться, он спросил:

— Что слышно с Америкой?

— Все идет как по маслу, Андрей Петрович. Скоро отправимся, скоро уже, — сказал Сергей Яковлевич с улыбкой, однако в тоне его просквозила легкая укоризна.

— А чем кончилась история со шпионом? — спросил Андрей.

— С каким шпионом? — не понял Лобанов.

— Ну, с тем... ну, помните, в конце февраля? Он шел к атомной...

— Ах, с этим... — удивился друг. — Да все в порядке, тогда же и взяли, — и наклонился к Андрею, — ваша помощь была замечательна! Вы так оперативно действовали... просто железно...

Андрею бы расслабиться, насладиться бы, но он был напряжен, сидел как-то углом, жестко, большие трагические глаза Анны Ильиничны маячили перед ним, все было несуразно... За окном шумело ранней зеленью дерево. Двигались прохожие. В Москве ждала мама.

— Как движется с английским? — спросил Сергей Яковлевич вяло.

Андрей кивнул и подумал внезапно, что все не так просто, что Америка не может быть фикцией, не может быть...

— Вам что, тогда было неприятно? — спросил Сергей Яковлевич. — Ну, тогда, с этим шпионом? Что-нибудь было не так?

— Нет, отчего же, — сказал Андрей.

— Мне показалось, что вы недовольны...

— Нет, просто... с Америкой как-то так... поматросили и бросили...

Друг хмыкнул:

— Какой вы, ей-богу!.. Это же ответственное дело, понимаете? Надо же все взвесить, — и засмеялся, — это же не в район съездить, Андрей Петрович...

Андрей собрался было сказать, что на праздники едет в Москву, к матери, что вскоре сам туда переберется, как Сергей Яковлевич спросил:

— В Москву собираетесь? Как кстати...

Андрей вздрогнул: откуда стало известно о его отъезде? Но он не расспрашивал, ибо ниточка, протянувшаяся от мыслей к словам, была все та же, знакомая и загадочная. Зато теперь он сидел на стуле маленький, сгорбившийся, усохший, а где находился сейчас тот прекрасный недавний великан с легкой раскованной походкой, было неизвестно.

— Есть одно дело, — сказал Сергей Яковлевич. — Только вы можете его выполнить, то есть у нас есть, конечно, люди, опытные и умелые, но они без этого... без шарма, что ли... без вашего шарма. В вас есть шарм. Надо бы вам взяться. Это по пути в Москву, очень удобно...

— Какое дело? — спросил Андрей. — Опять ловить шпиона? — Он решил как-то так встать на одну ногу с Лобановым: и пошутить, и усмехнуться, и призадуматься серьезно.

— Это по пути в Москву, — повторил Сергей Яковлевич, не придавая значения шутке, — вот какое дело: в Малоярославце проживают отец с дочкой — бывшие эмигранты, из Парижа вернулись. Фамилия Ковригины. Старик занимается на опытной станции селекцией растений, а дочь — санитарный врач. Работает на санэпидстанции, Ковригина. Красивая, понимаете, молодая женщина. Настасья. Понимаете, какое дело: есть сигнал, что у них собираются бывшие эмигранты, такие же, как они, и кое-кто из бывших репрессированных, ну и, естественно, всякие там разговоры, то есть как бы такой клуб... Вы поймите правильно, ведь, может быть, ничего такого и нету... пустая напраслина, клевета на них, понимаете? Тогда мы дадим клеветнику по мозгам, понимаете? Вы собрались в Москву завтра? Вот бы денек задержаться в Малоярославце, познакомиться с этой красавицей, ну, как-то там очаровать, что ли, и все будет ясно... уже из общения с ней многое станет ясно... в общем, не мне вас учить, Андрей Петрович... Ведь речь идет о репутации, может быть, очень хороших людей. О разоблачении клеветы...

— А если она не захочет со мной разговаривать? — спросил Андрей без энтузиазма.

— Что значит не захочет? Вы корреспондент областной газеты, ну, там всякие производственные вопросы, а потом общечеловеческие, да? — он засмеялся.

— Попробую, — сказал Андрей.

В Малоярославец Андрей приехал поздно, часов в одиннадцать вечера. Пошел по городу к гостинице, не очень надеясь получить место. В холле было тихо и пусто. Только у стойки высокий мужчина вполголоса любезничал с молоденькой администраторшей.

— Мест нету, — сказала она, мельком оглядев Андрея.
— А я и не сомневался, — сказал Андрей.
— Дай место человеку, Надюша, — сказал мужчина, — у меня же вторая койка пустует.

— А вы не против? — спросила она кокетливо. — Тогда пожалуйста, — взяла паспорт Андрея и оформила его.

— Какое счастье! — сказал Андрей и пошел устраиваться.

Действительно, иначе как счастьем это не назовешь: не успел войти, как вот уже и место, и не нужно кланяться и унижаться.

Комната была небольшая. Две койки одна против другой, столик с графином и старый запыленный фикус в горшке. Тусклая лампочка без абажура в потолке. За окном темень. Завтрашнее свидание с Настасьей Ковригиной. Вкрадчивые наставления Лобанова. Мама, ожидающая его в Москве (узнает ли он ее?).

Андрей разделся и, не погасив света, улегся. Все-таки есть справедливость на свете! Что скажут теперь те, кто называл его сыном врагов народа? Как посмотрят в его глаза? Но как ни силился Андрей, так и не мог вспомнить ни одного из них. Они были надежно скрыты ночью, временем, расстоянием, отходчивой памятью. Испытанный камуфляж надежно прикрывал их от возмездия...

Пοфлиρтовав с администраторшей, пришел милосердный сосед. Быстро разделся и улегся в свою постель. Перед тем спросил у Андрея, можно ли погасить свет. И когда свет погас, раздался его глуховатый голос:

— Вам привет от Сергея Яковлевича...

Это было похоже на игру. Играли взрослые. Андрея приобщили к великой тайне. Большие глаза Анны Ильиничны погасли. Где-то недалеко прекрасная Настасья Ковригина, ничего не предчувствуя, лежала в своей постели.

— Очень приятно, — пробубнил Андрей.

— Значит, вот что, Андрей Петрович, — сказал сосед из тьмы. — Завтра с утречка вы туда? Ну, часика три вам хватит? А после мы встретимся, и вы все доложите. Значит, встретимся мы у вокзала на площади. В двенадцать ноль-ноль...

— Давайте в час, — сказал Андрей.

— Хорошо, давайте в тринадцать ноль-ноль, — отозвался сосед, — вы пойдете через площадь к станции, а я навстречу. Сойдемся на середине площади. Я, значит, попрошу у вас прикурить...

— Да? — прохрипел Андрей...

— ...пока буду прикуривать, вы меня и проинформируете... Спокойной ночи, Андрей Петрович.

Андрей заснул под утро. Спал беспокойно и в восемь поднялся. Соседа уже не было. Аккуратно заправленная его кровать не напоминала о вчерашнем. Он наскоро побрился и вышел из гостиницы. Было солнечное утро. Деревья стояли в зеленом пуху. До Америки было далеко.

Прохожие не казались жалкими. Предстояла встреча с Настасьей Ковригиной. От этой встречи, видимо, зависело многое. Он готовил себя к ней, но походка его от этого не становилась пружинистой. Что-то мешало распрямиться, выглядеть бравым.

Наконец он нашел районную санэпидстанцию. Это был одноэтажный домик с палисадником. В маленькой приемной сидела некрасивая блондинка. Андрей с тоской оглядел ее.

— Я из областной газеты,— сказал он и протянул удостоверение. — Мы готовим материал, хочу побеседовать.

— Настасья Николаевна сейчас придут,— сказала блондинка, — с нею и беседуйте.

У Андрея отлегло от сердца. Слава богу, подумал он, не нужно охмурять эту выдру. И тут же в комнату вошла королева. Андрей вздрогнул, увидев ее. Это была настоящая парижанка, во всяком случае, в представлении Андрея. Она была высока, стройна, хороша и одета не по-малоярославски, и смотрела как-то сверху вниз. Это была по-настоящему красивая молодая женщина, ну, может быть, ровесница Андрея, сероглазая брюнетка с аккуратной челкой на высоком лбу, истинная Анастасия! Еще не хватало, подумал он, чтобы она заговорила по-французски...

— Ко мне? — спросила она не очень любезно на чистом русском языке.

— К вам вот из газеты, Настасья Николаевна, — подобострастно откликнулась блондинка.

— Я из газеты, — сказал Андрей как мог небрежно, — мы готовим материал.

Она не удивилась, не вздрогнула. Была холодна и неприступна.

— Что вас интересует?

— Все, — сказал Андрей и многозначительно улыбнулся, — специфика работы, трудности, перспективы...

— Специфика в названии учреждения, — сказала она, — трудностей не больше, чем у других, перспективы расплывчатые.

Он достал блокнот. Она не предложила сесть, всем своим видом выпроваживая незваного гостя.

— Ну и что же? — спросил он, усмехнувшись.

— Ну и все, — ответила дочь эмигранта.

— Понимаете, — сказал он, глядя прямо в глаза этой заграничной штучке, — я ведь не для себя стараюсь. Вам что, не хочется, чтобы о вас было в газете?

— Лично мне это не интересно, — сказала она, глядя на него в упор, — но вы спрашивайте, спрашивайте, если у вас есть вопросы, спрашивайте...

— Понимаете, — сказал он обиженно, — такое впечатление, что я вас чем-то обидел... мне ничего не известно о вашей работе, ну, что вы делаете, для чего, как это вообще...

Не за что было ухватиться.

— А вы им микроскоп покажите, — сказала блондинка.

— Ах, да,— откликнулась Ковригина,— микроскоп. Пожалуйста,— и жестом пригласила его в соседнюю комнату.

Комната эта была побольше первой. Несколько шкафов, стол, на нем микроскоп.

— Это? — спросил Андрей.

— Да, это, — ответила она.

«Вот отсюда и нужно тянуть ниточку», — подумал он.

— А как вы работаете с микроскопом? — спросил он.

— Смотрим вот сюда, — она ткнула пальцем. Разговорить ее было трудно.

Он представил на мгновение, как все же ему удалось ее разговаривать, растормошить, и они подружились... Какая женщина!.. И он стал наезжать в Малоярославец или она к нему в Калугу. Она ему нравилась. Она ему очень нравилась. И чем больше она нравилась, тем больше он терялся перед ее серыми глазами...

— Как интересно! — сказал Андрей с надеждой, — как вы в него смотрите?

Она пожала плечами и наладила микроскоп.

— Вы что, и в школе этого не видели? — спросила она.

— Нет, не видел, — соврал он и покраснел, и припал к окуляру.

Там в матовом пространстве передвигались кружки и палочки, а в дверях стояла дочь эмигранта и разглядывала его с укоризной. Пора начинать, подумал он и спросил, не отрываясь от окуляра:

— Скучный у вас городок?

— Для меня нет, — ответила она.

— Что же вы делаете по вечерам? — спросил он.

— А вы? — спросила она насмешливо.

— Ну, хожу в кино, в ресторан, — ответил он, хотя ни в кино, ни в ресторане не был уже с полгода, — а вы?

— Предпочитаю читать, — сказала дочь эмигранта, словно отрезала, и тут же, не давая ему опомниться: — Ну, посмотрели? Какие еще вопросы?

Вопросов больше не было. Все разбивалось о явную недоброжелательность Настасьи Ковригиной.

— А здесь кинотеатр есть? — спросил он.

— Есть, конечно, — сказала она.

Тогда он выдохнул с отчаянием:

— Давайте вечером сходим?

Она усмехнулась и ответила жестко, не отводя взгляда:

— Я в кино не хожу.

Как он с нею распрощался, как выскочил из этого кошмара, было не понять. Овеваемый весенним ветерком, он бежал к вокзалу, не спрашивая дороги. Ноги сами несли его. Он семенял с портфелем в руке,

маленький и сутулый, счастливый, что благополучно унес ноги. «Дочь эмигранта» звучало, как «сын врагов народа».

Ровно в тринадцать ноль-ноль он резко направился через площадь к зданию вокзала. Папироса дымила в руке. Видно было, как сосед по гостинице оттолкнулся от тротуара и пошел навстречу. На самой середине площади они сошлись. Сосед наклонился прикурить, и Андрей то-ропливо отчитался.

— Все отлично,— сказал сосед,— счастливого пути.

9

Замереть на маминой груди, позабыв все на свете: и Калугу, и горькие годы разлуки, и громадные, удивленные зрачки Анны Ильиничны, и серые, отдающие холодом, прекрасные — Анастасии, и маленькие, вьедливые, карие Сергея Яковлевича, и вчерашнюю войну, и завтрашнюю Америку... Маме он ничего не рассказал. Она была потухшая и выжатая. Восемнадцать лет лагерей и ссылки в один день не перечеркнешь. Это надолго. Стоит взглянуть на нее, как тотчас перед глазами — решетки, сырые стены, колючая проволока и матерщина следователей, и тяжелый кулак, и конвейер... Мамочка, мамочка, как бы встретить этих людей, нелюдей этих, прикасавшихся к тебе своими лапами! Где-то ведь есть их тихие квартиры, где ждут их счастливые жены и счастливые дети; где-то мелькают они в заячьих шапках и в кепочках, в сапогах и штиблетах, сухощавые и страдающие одышкой; где-то ведь звучат их оплеухи и вкрадчивые баритоны, и истеричные, похмельные хриплые тенора. И сколько бы Андрей ни глядел на мать, всякий раз видел бьющую руку почему-то в рыжих волосах и маленькие раскаленные карие глазки, направленные на нее; и ее лицо в уродливой гримасе боли, ужаса и отчаяния... Мамочка, мамочка, что же сделать, чтобы позabyть все это? Как отмыть тебя от унижающих оплеух, плевков и мата?! Мамочка, мамочка!..

Он все рассказал ей, все, кроме глупого фарса со шпионами и Америкой, и она говорила обо всем, кроме того, что пережила за восемнадцать лет. Только и сказала: «Когда этот умер, я поняла, что все переменится...»

Маме дали квартиру, работу. Предложили войти в комиссию по реабилитации. Ехать нужно было на Северный Урал, мотаться по лагерям и освобождать, освобождать, освобождать таких же, как она, избитых, изможденных, потухших.

Три майских дня пролетели незаметно, и Андрей воротился в Калугу. В редакции его сердечно поздравляли с возвращением матери, и те, на кого он еще совсем недавно смотрел с жалостью, снова выглядели нормальными людьми, его товарищами. И Анна Ильинична предложила немедленно выпить по глотку за мамино возвращение, потому что она-то уж лучше других понимала ситуацию. И они выпили, и Анна

Ильинична, нацелив на Андрея свои громадные печальные глаза, спросила:

— С мамой советовался? Нет? Ничего ей не рассказал? Испугался? Ей не до этого. Понимаю, понимаю...

— Да вообще,— сказал Андрей,— надо с этим кончать...

— Ты знаешь,— сказала она,— знаешь, чем может кончиться американская эпопея? Кончится она тем, что тебе предложат следить за близкими тебе людьми... например, за мной...

— Ну уж! — сказал он и покраснел, и тут же вспомнилась роскошная Анастасия Ковригина.

Через месяц позвонил Лобанов, и они встретились. Уже в телефонном разговоре Андрей дал понять, что с ним не пообедает, и потому Сергей Яковлевич спросил, встретятся:

— Какая-то грусть в вашем голосе. С матерью-то все в порядке?

— Ну, пока она о вас не знает, у нее все в порядке,— сказал Андрей с невеселой усмешкой.

Лобанов вскинул брови.

— В каком смысле, Андрей Петрович? Надеюсь, вы с нею не откровенничали?

— Да нет,— сказал Андрей,— ее волновать нельзя.

— Вот и отлично,— сказал Сергей Яковлевич,— а грусть у нас откуда?

— Если нужно,— криво улыбнулся Андрей,— я расскажу о поездке в Малоярославец... У меня там не получилось...

— Пустяки, Андрей Петрович, все вышло отлично.

— Э,— сказал Андрей,— ваш сотрудник не знает подробностей.

— Все хорошо, все хорошо. Анастасия меня проинформировала... Вы действовали отменно.

Он провел рукой по столу, и солнце заиграло на рыжих волосах. Он нервничал, Андрею это было заметно. Чекист поправил галстук, проглотил слюну — кадык шевельнулся. Сказал, улыбаясь:

— Есть одно дельце, Андрей Петрович.

— А как с Америкой? — нагло спросил Андрей.

— Да вот уже совсем скоро,— сказал Лобанов с ленцой.— Тут вот какое дело...

И тут Андрей приготовился выпалить свое «нет», но сдержался. Опять началась лихорадка. Мелкая дрожь охватила тело — то ли ужас, то ли гнев, то ли крайняя решимость. Сергей Яковлевич глядел на него с грустью.

— У вас там с английским все в порядке?.. Анна Ильинична, видать, педагог крепкий, не правда ли? Это я сужу по вашим впечатлениям...

— Да я ничего и не говорил...

— Говорили, Андрей Петрович, впрочем, пожалуй, и нет, но это чувствуется, это видно, у вас даже легкий акцент проскальзывает, вот, я думаю, какого человека держали взаперти, такого специалиста, Анну

Ильиничну, вместо того, чтобы пользоваться ее знаниями... Вы с ней дружите?

— Конечно,— выдавил Андрей.

— Ну что она, как она после всего? Настроение какое? После стольких лет лагерей человек ожесточается, он перестает ручаться за свои поступки.

— Сергей Яковлевич,— тихо сказал Андрей,— вы напрасно это, я ведь не гожусь на эту роль...

— Да вы что! — забеспокоился Лобанов.— Вы меня не поняли... Вы думаете, что я что-то там хочу выяснить для каких-то там целей? Я просто хочу с вашей помощью, потому что вы ее близкий человек, выяснить, нуждается ли она в нашей помощи, в нашей защите после всего, что пришлось пережить, а вы решили, что я вмешиваюсь в личную жизнь. У вас такое настроение в последнее время, вы неправильно думаете обо мне... Ну, пожалуйста, если не хотите...

— Не хочу,— сказал Андрей. Лихорадка прекратилась. Лобанов потирал лоб пухлыми пальцами.— Вообще не хочу, я для этого не гожусь...

— Да пожалуйста, пожалуйста,— сказал Лобанов. Его карие глаза сверкнули и тут же погасли.

— Поиграли в шпионов и хватит,— сказал Андрей,— и хватит.

— Вы меня неправильно поняли,— сказал Лобанов,— ну, да бог с вами,— потом, глядя мимо Андрея, сказал без интереса: — Я позвоню, когда что-то выяснится, позвоню...

Андрей пошел к дверям. Лобанов молчал.

...Больше он не звонил. Месяца через три, уже перед самым окончательным отъездом в Москву, Андрей встретил его на улице. Он шел навстречу. Андрей собрался было поздороваться по старому знакомству, но Сергей Яковлевич отвернулся.

СОДЕРЖАНИЕ

Девушка моей мечты	3
Нечаянная радость	13
Приключения секретного баптиста	21

ОКУДЖАВА Булат Шалвович
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕКРЕТНОГО БАПТИСТА

Рассказы и повесть

Редактор И. И. Мильштейн

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 1.04.91. Подписано к печати 13.05.91. Формат 70 × 108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,13. Тираж 90 000 экз. Заказ № 356.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
В ЭТОМ ГОДУ
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- О. МАНДЕЛЬШТАМ «Четвертая проза»;
Е. РЕЙН «Непоправимый день»;
В. НИКОЛАЕВ «Горсовет по-американски»;
С. ЛИПКИН «Угль, пылающий огнем»;
Г. АКСЕНОВА «Театр на Таганке: 68-й и другие годы»;
И. ЭРЕНБУРГ «Неправдоподобные истории»;
Л. ЧУКОВСКАЯ «Сверстнику»;
Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ «Бессонница»;
К. БАЛЬМОНТ «Где мой дом?»;
Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ «Незабвенный Мишуня»;
В. РЕЦЕПТЕР «До третьего звонка»;
Б. ЗАЙЦЕВ «Братья-писатели»;
М. КВЛИВИДЗЕ «Продолжение следует»;
Г. БЕЛАЯ «Затонувшая Атлантида»;
А. АНАНЬЕВ «Конец причиныны»;
Б. ПЕТРОВСКИЙ «Два человека — одно сердце»;
В. СЕЛЮНИН «Все у нас получится»;
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ «История моего заключения»;
В. КОСТИКОВ «Сумерки свободы»;
Е. ДОБРОВОЛЬСКИЙ «Заполярные ангелы»;
А. ПЬЯНОВ «Утренние птицы»;
Г. РОЖНОВ «Всесоюзный розыск»;
А. БЕЛЫЙ «Первое свидание»;
В. КОРАЛЛИ «Куплетист из Одессы».